Январь 1929 г. № 1 (26).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОДЕССА

МОЛОТ



3272

Ленин об искусстве и пролетарской культуре.

„Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самые толщи широких трудящихся масс. Оно должно быть понято этими массами и любимо ими. Оно должно об'единять чувства, мысль и волю этих масс. Поднимать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их".

„Без ясного понимания того, что только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру,— без такого понимания нам этой задачи не разрешить".

„Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества".

„От раздавленного капитализма сыт не будешь. Нужно взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из нее построить социализм. Нужно взять всю науку, технику, все знание, искусство. Без этого мы жизнь коммунистического общества построить не можем. А эта наука, техника, искусство— в руках специалистов и в их головах".

„Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, которые называют себя специалистами по пролетарской культуре. Это все сплошной бред. Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знаний, которые общество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества".

«Нельзя не из чего строить коммунизм, иначе как из человеческого материала, созданного капитализмом, и нельзя изгнать и уничтожить буржуазную интеллигенцию, надо победить, переделать, переварить, перевоспитать ее, как перевоспитать надо в длительной борьбе на почве диктатуры пролетариата и самих пролетариев, которые от своих собственных мелко-буржуазных предрассудков избавляются не сразу, не чудом, не по велению божьей матери, не по велению лозунга революции, декрета, а лишь в трудной массовой борьбе с массовым мелко-буржуазным влиянием».

„Все эти пути и дорожки подводили и подводят и продолжают подводить к пролетарской культуре так же, как политическая экономия, переработанная Марксом, показала нам то, к чему должно притти человеческое общество, указала переход к классовой борьбе, к началу пролетарской революции".

„В то время, как мы болтали о пролетарской культуре и о соотношении ее с буржуазной культурой, факты преподносят нам цифры, показывающие, что даже с буржуазной культурой дела обстоят у нас слабо. Оказалось, что, как и следовало ожидать, от всеобщей грамотности мы отстали еще очень сильно, и даже прогресс наш по сравнению с царскими временами (97 годом) оказался слишком медленным. Это служит грозным предостережением и упреком по адресу тех, кто витал и витает в эмпиреях „пролетарской культуры". Это показывает, сколько еще настоятельной черновой работы предстоит нам сделать, чтобы достигнуть уровня обыкновенного цивилизованного государства Западной Европы. Это показывает далее, какая уйма работы предстоит нам теперь для того, чтобы на почве наших пролетарских завоеваний достигнуть действительно сколько-нибудь культурного уровня".

„Собственно говоря, нам осталось **только** одно: сделать наше население настолько „цивилизованным", чтобы оно поняло все выгоды от поголовного участия в кооперации и наладило это участие. **Только** это. Никакие другие премудрости нам не нужны теперь для того, чтобы итти к социализму. Но для того, чтобы совершить это **только,** нужен целый переворот, целая полоса культурного развития всей народной массы".

„Наши противники не раз говорили, что мы предпринимаем безрассудное насаждение социализма в недостаточно культурной стране. Но они ошиблись в том, что мы начали не с того конца, как полагалось по теории всяких педантов, и что у нас политический и социальный переворот оказался предшественником тому культурному перевороту, той культурной революции, перед лицом которой мы все-таки теперь стоим".

„Для нас достаточно теперь этой культурной революции для того, чтобы оказаться вполне социалистической страной, но для нас эта культурная революция представляет неимоверные трудности и чисто-культурного свойства (ибо мы безграмотны), и свойства материального, ибо для того, чтобы быть культурными, нужно известное развитие материальных средств производства, нужна известная материальная база.

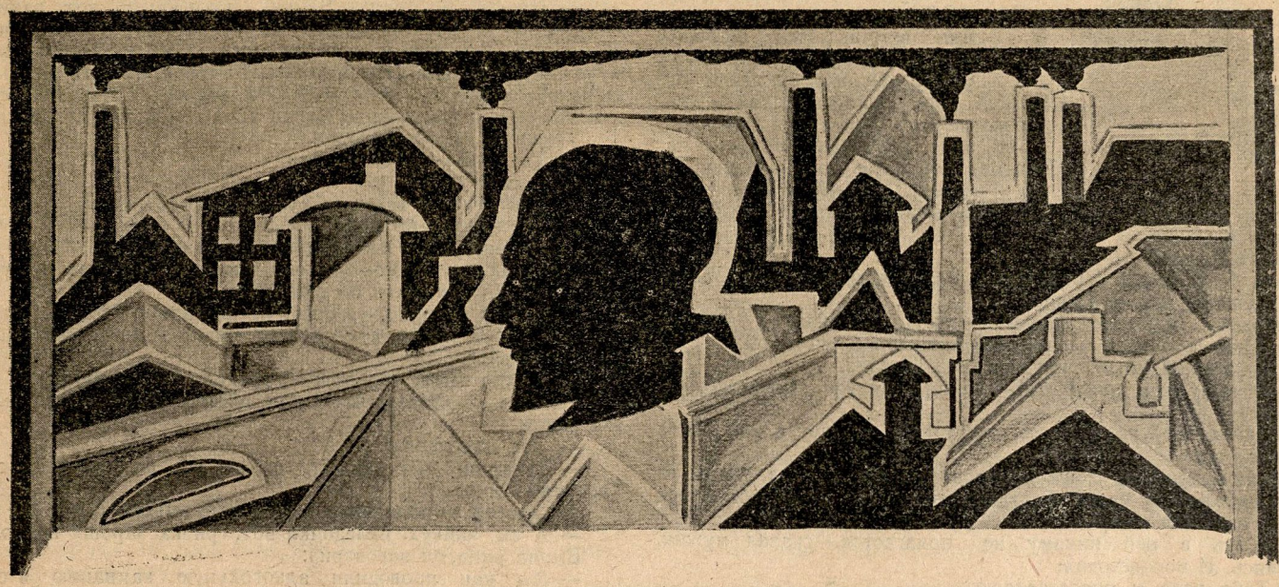
На обложке: — Приезд В. И. Ленина в Россию 3 апреля 1917 г.

Ежемесячный литературно-художествен. журнал.

МОЛОТ

Тульской ассоциации пролетарских писателей.

IV год издания. | Январь 1929 года. | № 1 (26)



ИЛЬИЧ.

I.

Я слышу жизнь.
Грохочет жизнь
Могуче, радостно, широко.
Встают под небо этажи,
Сияя синей гладью окон.
Здесь каждый день—как взмах весла,
Вперед! Вперед! Взлетают руки,.
Там домна новая пошла,
Там—новый цех, в дыму и стуке.
В поля иной упал посев,
Литым зерном налита осень,
И провод мчится над шоссе,
Кружа, по избам ток разносит.
Где барин жил--теперь колхоз,
Блестят ворота, точно латы.
За парком твердо в землю врос
Громадный, тучный элеватор..
Страна могуче зацвела
Великой и победной новью...
— Вперед!
Нам день—как взмах весла,
— Вперед!
Набухли мышцы кровью!
Я вижу жизнь:
Все выше взлет
Стропил и пил. На камень—камень.
И небо голубым цветет
И солнце плавится над нами.
Грохочет жизнь, шумят сады
И даль распахнута весенне,
И в синь плывет заводов дым...
...О, если б мог увидеть Ленин!

II.

Сквозь пенье пуль,
Сквозь бури вой,
Сквозь лихорадочные ночи
Он нас провел
И под стеной
Кремлевской лег Великий Кормчий...
Да, пенье пуль...
Да, бури вой...
Враг жал кольцом страну Советов,
Но был спокоен голос твой,
Гремевший, как набат, в декретах!
И вот оправилась страна.
Утихли вихри непогоды,
Растаяла врагов волна
И задымили вновь заводы!
Сквозь пенье пуль,
Сквозь бури вой,
Сквозь лихорадочные ночи
Ты нас провел
И под стеной
Кремлевской лег,
Великий Кормчий!

III.

...Куранты бьют...
Куранты бьют...
Огни шатаются, алея,
И замирает улиц гуд
У основанья мавзолея.
Река людей течет сюда
И тихо произносит имя,
Стоят великие года,
Стоят у входа часовыми...
Куранты бьют...
Звенит удар...

IV.

....Я слышу жизнь.
Грохочет жизнь
Шныряют пилы, к камню—камень...
— Ильич наш жив!
Наш Ленин жив!
Ильич—он в нас, Ильич—он с нами!
Гремит победный гимн труда...
— Вперед! Вперед!
Взлетают руки...
Ильич наш жив!
Ильич—он там,
Где новый цех, в дыму и стуке!

Ив. Коотин.





Рассказ — и иллюстрации к нему — С. Дмитриева.

I.

СПОЛЕЙ подуло холодным, синим ветром. Над широким горизонтом угасала длинная, узкая, как поясок, цвета лимонной корки, полоса, сарай и придорожные ветлы тонули в сумраке.

В этот холодный вечерний час приехал в Крутые Горки—избач Павел Гвоздев. Веселый, в коричневом армяке и лохматой шапке, мужик сказал: тпру и остановил лошадь у крыльца.

— Воти изба.

Изба была темна и безмолвна. В смутном вечернем свете Гвоздев увидел кривое крыльцо.

Холодно, мертвым светом чуть поблескивало дверное кольцо. Окна смотрели черной, неприветливой пустотой.

— Так в ней никого нет,—сказал Гвоздев.

— А кому ж в ней быть?—удивился мужик. Известно, никого нет.

Раз читальней называется, стало-быть, никому в ней жить не полагается.

Мужик подошел к лошади, поправил шлею и стал ходить на двор, подняв голову вверх. Гвоздев взошел на крыльцо, толкнулся в дверь, она была заперта.

— Жить в ней никому не полагается,—сказал мужик, оправляясь. И посоветовал:

— Тебе надо к председателю.

Гвоздев осмотрелся вокруг. Мутно-желтые огни в избах, густая чернота в осенних садах, собачий лай во тьме, холодный ветер и темный, без единой звезды, беспредельный полог неба. Вот она деревня!

— Езжай к председателю,—сказал мужик и стал поворачивать лошадь на дорогу.

И вот опять запрыгала телега по сухим калмышкам, загремела по деревяшке оторванная железка, шаткий мост проохал под телегой и пруд, темневший за ветлами, пахнул на проезжих гнилью застоявшейся воды.

— Вот, на бугор поднимемся, тут тебе и председательская изба,—сказал мужик, пуская лошадь итти в гору, как ей вздумается.

Лошадь еле поплелась, а мужик посвистывал тихонько, ободряя усталое животное.

И вот, загорелась почти над головой лошади звездочка, мигнула и расплылась светлым пятном—в первой избе на бугре зажгли огонь.

Осыпая песок и мелкие камешки, скатилась под ноги лошади злая собака, лошадь дернулась, ударив копытом в передок телеги.

Тогда мужик крикнул: но, милашка,—дернул вожжей, и в несколько минут телега подкатила к председательской избе.

Мужик сказал:

— Слезай, приехали. Стучи в окошко.

II.

Изба у председателя была новая и просторная, пахла смолой.

Узнав, кто приезжий, председатель, обдергивая рубаху, пригласил Гвоздева за стол.

— Полезайте, товарищ, вот сюда, сюда, прошу покорно... Садитесь... Мы тут с Назар Лексеичем дела обсуждаем...

Председатель, Терентий Тихоныч, мотнул головой на белобрысого человека:

— Секретарь мой... Назар Лексеич... Обсуждаем дела... Делов тьма, хоть подавись делами.

Секретарь икнул:

— Именно, подавись делами...

И председатель и секретарь были навеселе.

Терентию Тихонычу было лет пятьдесят. Он был коренаст, широкоплеч, темная с проседью борода степенно лежала на белой рубахе; в глазах у него блудила усмешка, словно знал председатель что-то такое, отчего ему было весело и чего он не хотел открыть никому.

Секретарь был худ, у него была голова клином, лицо в веснушках, белесые глаза были обведены малиновыми кантиками и удивленно, высоко над глазами серебрились жиденькие брови. Секретарь откашлянулся.

— Просвещать... ик... темноту-с деревенскую приехали?—спросил он.

Председатель налил стакан чая и поставил перед Гвоздевым.

— Прошу покорно... Чайку... Селедочки, вот, закусите... Обедом бы я вас накормил, да нету сегодня у меня обеда-то. Жены дома нет, к сыну в гости ушла... Сын у меня тут в коммуне председателем... Ну, и ушла. И Степан, то-есть другой сын, меньшой, тоже с ней ушел... А мы вот с Назар Лексеичем домовничаем и обсуждаем. Делов тьма .. А насчет просвещения...

Трудно с нашим народом...

— Трудно?—спросил избач.

— Весьма.

— А кто у вас ведет ее культурную-то работу?

— Мы ведем,—по мере сил.

Секретарь уныло смотрел на председателя.

— Культура... чмокнул он языком и унылым и тусклым взглядом стал блуждать по столу.

— Прошу покорно,—угощал председатель Гвоздева чаем.

Посмотрев на пустые рюмки, спрятанные за самовар, секретарь сказал:

— Может-быть, товарищ и горькой не побрезгует.

Услыша от избача, что он не пьет вина, секретарь выразил сожаление:

— Это напрасно-с.

— Товарищ не осудит, ежели мы по рюмочке,—сказал Терентий Тихоныч.

Он достал из-под лавки начатую бутылку.

— А вы, чайку... Селедочки вот, грибка. Прошу покорно.

Выпив вина, он заговорил:

— Мы как проводили алкогольную кампанию я совсем порешил—в рот хмельного не возьму. И держался. Недели две должно-быть, ни-ни, губы не мочил.

Так бы и бросил, да хворь замучила. Одолела хворь. Туда—сюда, к фельшеру, Василь Мартьянычу... Не отлегает. Мучает хворь—умирай ложись. Спасибо дед Еруслан, знахарь, тут у нас, Еруслан по прозвищу, враз смекнул: у тебя говорит в нутре червь завелся и без вина ты совсем сгибнешь. Коли не давать червю тому, золитеру, вина, так он всю кровь выпьет.

— И выпьет,—утвердительно сказал секретарь.

— Во, во,—замотал головой Терентий Тихоныч,—так мне Еруслан и сказал: выпьет тот червь всю кровь до единой капельки.

Гвоздеву стало тоскливо.

Выпив стакан чая, он спросил, где б ему устроиться на ночлег. Терентий Тихоныч обрадованно заулыбался:

— Насчет этого не беспокойтесь. Ежли не озябнете, ложитесь в летней половине... Ни мухи, ни клопа. Спокой полный.

Он зажег свечу и повел Гвоздева через сени в летнюю избу, чистую, просторную и холодную.

— Тут вот и кровать есть и одеяло... С дороги-то вам перво-на-перво—отдых надобен. Свечечку я вам оставлю, может быть, понадобится.

Он поставил свечу на стол и обвел глазами потолок.

— Сын у меня жених... Ему жить предстоит. Вот и пришлось избу новую ставить...

Он подошел к стене и ткнул пальцем в конопатку:

— Жули к народ пошел... Нешто раньше так конопатили Раньше народ добросовестный был. Бога боялись и опять-же уважение имели к человеку... Бывало...

Председатель, вдруг спохватившись, сказал:

— Не смею беспокоить... Отдыхайте... Располагайтесь, как дома... Не смею беспокоить. Спокойной ночи.

Гвоздев лег, не гася свечи, не раздеваясь.

«Мужик, видно, продувной»,—подумал он о председателе. А секретарь, должно-быть, из волостных писарей. Гвоздев курил и осматривался вокруг.

В переднем углу поблескивали фольгой образа и лампадки, на окнах висели узорные занавески, на стенах лубки и фотографии. Так лежал Гвоздев с полчаса, думая о предстоящей работе.

Когда он погасил свечу и лег, с головой укрывшись одеялом, в сенях послышались шаги, громыхнул железный засов и председатель,—Гвоздев ясно слышал его голос,—встречая кого-то, говорил:

— Ты, Егор Фомич? Проходи, проходи...

Потом шаги, одни мягкие и шаркающие, другие твердые, как деревянные, стихли в другом конце сеней.

Председатель сельсовета, пропуская вперед себя в избу высокого, одетого в синюю поддевку, председателя кооперативного говорил:

— Прошу покорно... Проходи, Егор Фомич.

Егор Фомич, сняв суконный картуз помолился в передний угол:

— Здорово.. живете!

— Полезай за стол, садись,—приглашал Терентий Тихоныч гостя. Садись, гостем будешь, а вина купишь - хозяином будешь.. Мы тут вот с Назар Лексеичем обсуждаем... Приехал тут хлюст один...

Егор Фомич, шаря ладонью по лысеющему затылку, вскинул спрятанные в морщинистых припухлых мешочках глаза на Терентия Тихоныча.

— Что за хлюст?

— Избач... Просветитель, хе-хе...

Секретарь матюгнулся и, низко свесив под столом пьяную голову, загнусавил:

— И... эх, да ты сад, ах да ты мой сад,

Сад зе.. э. лениньк ай...

— Просветитель,— продолжал Терентий Тихоныч Сурьезный, видать... Вина, говорит, не пьет.. Врет, небось. Сидел тут чай пил, все на рюмки косоурился... Я уж рад радехонек, что он отдыхать ушел... Свел я его в ту избу... Дрыхни ложись, шут с тобой.

— Тэк,—промычал Егор Фомич.

Терентий Тихоныч налил рюмки.

— Тащи, Егор Фомич, на доброе здоровье... Назар Лексеич, а ты чего-ж? Бери.

Но секретарь, мутно посмотрев на Терентия Тихоныча, только мотнул головой и опять запел:

— Ты зачем рано расцвел,

Осы... па... иеси..,

III.

Из записной книжки Гвоздева.

На большой горе стоят Крутые Горки. Поэтому, должно быть, и называются так. На горе село, под горой река и такая ширь открыта с горы за реку— стоишь и дух захватывает от простора.

Поля, деревни, в солнечные дни сентябрьским золотым цветом цветут леса.

Меня Крутые Горки неприветливо встретили

«Начальство» деревенское недовольно моим приездом.

Серебром первых заморозков была покрыта трава, когда я проснулся на другой день моего приезда.

Я оделся и вышел на крыльцо. Студено, блестяще и тихо вставал день.

Мычала корова, парным молоком и теплым навозом тянуло с соседнего двора. Курица надсадливо кудахтала. Но отдельные звуки не могли нарушить утренней тишины, и мне казалось, что вот-вот я услышу далекие. родные заводские гудки.

— Проснулся, товарищ?

Я оглянулся. Сзади стоял Терентий Тихоныч; теперь я заметил, что лицо его, измятое и опухшее с похмелья, было не по годам румяно.

— Где ключ от избы-читальни?—спросил я.

— А шут его знает,—зевнул Терентий Тихоныч. Да и зачем ключ нужен? Вытащи пробой—вот тебе и все.

Терентий Тихоныч крикнул во двор:

— Степанида! Ты тут што ль где? Скоро ль у тебя самовар поспеет?

Мне он сказал:

— Сейчас будем чаевничать.

Я сказал «спасибо» и, отказавшись от чая, взял свой сундучек и пошел в читальню.

Она на другом конце села.

Меня провожали любопытные взгляды женщин, шедших с ведрами, мужик, ведший под уздцы лошадь, поравнявшись, снял шапку, здороваясь со мной.

У пруда, при дороге, стояла прокопченная кузня.

У прясла рдела рябина, рдел в черной утробе кузни рябиновый огонек, и голубой дым выползал наружу. У горна в чаду возился около колеса человек.

Кузня напомнила мне город. Поднявшись на бугор, я еще раз оглянулся на нее.

В избе-читальне я нашел налицо разруху.

Пустота и пыль, засоренный подсолнечной шелухой пол и клочки плакатов на бревенчатых стенах, и вдобавок ко всему какой-то хулиган напакостил у самого стола.

Я отворил затянутые паутиной окна, нарвал на задворках сухого былинника для веника и принялся за работу. Когда, наглотавшись вдоволь пыли, я вышел покурить на крыльцо, к избе подходил человек, без картуза, стриженый, в коротком овчинном, нараспашку, полушубке.

Он шел, подняв голову, смотрел прямо на меня и улыбался.

— Не избач ли будете?—спросил он.

Узнав, что и есть избач, он полез на крыльцо, протягивая мне свою длинную, жилистую руку.

— Онуфрий Горшков.

Он сел рядом со мной, закинув ногу на ногу, и заговорил:

— Смотрю давеча: идет человек с сундучком, городской видно, кто бы такой, думаю, уж не избач ли приехал?.. Оно так и есть. Это зачем же вы сами? кивнул он головой в избу, где у порога лежал ворох мусора. Это надо баб мобилизовать, вымыть, вычистить... Это я сейчас... Домаху пришлю, иль Аннушку... У меня-то баба в положении, нельзя ей полы мыть...

Говорил Онуфрий быстро, торопливо; видно, горячий человек.

У него такое открытое лицо, большие глаза и хохлацкие усы. В общем он похож немножко на Горького.

Через час смешливая, черноглазая Аннушка и красивая, строгая Домна, подоткнув юбки, мыли полы в избе - читальне, и Аннушка пела веселую песню.

— Это наш актив,— говорил о них Онуфрий. Вот, погоди, ужо Аннушка делегатка придет... Боева...ая баба...

От Онуфрия я узнал многое

Коммунистов в Крутых Горках нет. Комсомольцев пятеро, из них двое дети кулаков.

Председатель сельсовета—богатей. В потребиловке его брат двоюродный. Сельсоветский секретарь—из их родни. В ревкомиссии тоже ихние люди...

А беднота и средняки разрознены, неорганизованы...

Вот уж где, именно, как у нас говорить принято, непочатый край работы!

— Культурную - то работу одно время я вел, —говорил мне Онуфрий. Ну, не гожусь. Мало учен

На смех иной раз поднимают.

Вел я, как-то беседу о земле и прочем, ну, и упомянул про ось. Про земляную. Так засмеяли. Насмешников у нас много.

«Чем-же,—кричат,—чем тая ось смазывается? Да и сколько ж дегтю на такую ось надобно?»

И во всем так. Иной ненавистник такой вопросик задаст, что прямо в лужу посадит. Помнешься этак, а ответить — тпру. Не учен.

И ваши товарищи городские иной раз нашу работу подрывают. О шефах я говорю. Я тут много мужикам о шефах говорил. Будут, мол, у нас шефы, подмога и все прочее.

Ну, приехали шефы. Доклад и прочее, смычка, значит, и совместная работа. Насчет школы говорили, обещали помощь дать.

Ждем месяц, другой. Весной, смотрим, приехали шефы опять.

Молодые на этот раз. С балалайками, с гитарами.

Ну, устроили тут вечер. Хорошо это, ничего, а потом ребята шефские перепились, передрались с нашими ребятами по пьяному делу, ну, а мне и на улицу стыдно показываться.

А теперь, полгода вот, никакие шефы к нам не едут,



Справляли престольный праздник.

А меня и посейчас многие в насмешку шефом зовут. Так-то вот.

— Ничего,—говорю я Онуфрию. Будем действовать.

— Это обязательно... Будем развертывать... Пусть злобствуют...

— Кулаки?

— Кулачье,— отвечает Онуфрий. В прошлый год по осени у меня ригу спалили... И по сей день неизвестно кто... Кулачье злобное. Кузнец Ефим на што силен и то избили о прошлом годе—два месяца в больнице отлежал.

Я вижу — Онуфрий будет хорошим помощником в работе.

Он в тот же день оповестил деревенских активистов, и в беседе и обмене мнений мы провели весь вечер, до полночи. Активисты почти все молодые. Старше всех Ефим Додонов.

Его лицо пропитано угольной пылью, на большой голове старенькая, блестящая от грязи, похожая на кожаную кепка, у него огромные, тяжелые руки. Это — тот самый кузнец, которого я видел утром и о котором говорил мне Онуфрий. У него хриплый, надсаженный голос, и, волнуясь, Ефим грохает кулачищем по столу.

. . . . . .

Собрать бедноту... В воскресенье беседу с женщинами.

Несытов Авдей. Спекуляция хлебом. Выяснить... Касса взаимопомощи. Богатым мужикам куплены лошади. Семена.

— ..... Съездить в райком. Написать в «Дер. Правду».

. . . . . .

———

Сентябрь 19. Ходили сегодня с Онуфрием и с Иваном Печниковым дом под школу смотреть.

Стоит этот дом на выгоне, над рекой и представляет очень унылое зрелище. Дом большой, кирпичный. Без окон, без дверей — вместо них темные дыры. Плесенью и зловонием обдало нас, когда мы перешагнули порог.

— Тут ремонту—ремонту...— сказал Онуфрий.

— Ремонт што... Разбирать его надо. Да перенести на другое место,— многозначительно заметил Иван.

Онуфрий об'яснил мне, в чем дело.

— Дом этот огородников. Ну, огородник разорился в революцию, запил, да с пьяну-то и повесился, в новом-то доме... Ну, а у нас многие суеверные больно. А бабы, так те вечером мимо этого дома ходить боятся... Будто виденья тут всякие и прочее. Брехня, понятно.

У дома лежала груда кирпича и видно было, что летом буйно росла вокруг крапива.

Жиденькая березка одиноко росла у тропинки и желтой бабочкой трепетал на сучке сухой листок.

Дымя папиросками, мы несколько минут стояли у кирпичей, и тогда Онуфрий, протянув руку, показал:

— Вон, лесок-то, не вправо который, а влево, во, во... Это колхоз...

Сынок Терентия Тихоныча делами там орудует.

— Жулик,— отрывисто буркнул Иван Печников.

На поле темные, живые точки—крестьяне картошку копают.

. . . . . .

Женским собранием нельзя похвалиться. Собрались плоховато. Слушают хорошо, а говорят мало.

. . . . . .

22. Открыли стол справок.

. . . . . .

Говорил с Терентием Тихоновичем о совместной избы-читальни с сельсоветом культработе.

Он хныкал, дакал, чесал в бороде, и ядовитая усмешка не пропадала в его глазах.

— Оно, ежели по правде,— наконец сказал он,—положа руку на сердце,—чего мужику первo-наперво требуется? Я тебе, друг-товарищ Гвоздев, скажу: ты нашему брату мужику ситцев дай, денег дай, а шут ли в ней, в культработе-то. Одно хулиганство...

Да и бюджет у нас бессильный.

... Откровенно сказано...

На другой день мне передали от него записку: «Прошу не побрезговать в виду престольного праздника пожаловать завтра выпить чаю и провести праздник совместно».

Вот он какой «любезный» человек!

Праздник праздновали крутогорцы дико и пьяно.

Произошли две кровавые драки.

А вечером я проводил антирелигиозную беседу; вдруг пришел Федька Жмых, он похож на оранг-утанга, пролез мимо мужиков к столу и спрашивает у меня:

— Хошь я тебе рождество твое разукрашу, под орех разделаю? Насилу выпроводили этого хулигана.

IV.

Степка в отца. Упрямый и злой. У него низкий, приплюснутый лоб, чрезмерно густые, черные брови, и порой змеится в его глазах отцовская насмешка.

Вернувшись с собрания он говорил отцу, хлебая с блюдца горячий чай:

— Дошлый чорт... Понимай, куда гнет.

Терентий Тихоныч насторожившись слушал сына.

— Ну, ну?

Степка обозлился:

— Ну, ну... Аль не понимаешь? Ну, ну... Сплотить, мол, бедноту... Тут ревизию, там ревизию...

— Ну, ну...

Степка звякнул блюдцем по столу.

— Вот и будет — ну, ну...

— Да кто-ж он такой есть?—вскинулся Терентий Тихоныч.

— Кто он такой? Избач. Его дело культурное. Газеты громко читать... Беседы... Что он должен представлять из себя? Громкоговоритель — ни больше, ни меньше! Чего он везде суется не в свое дело? Из молодых, да ранний...

Жена Терентия Тихоныча, Катерина Сидоровна, смотрела выпуклыми рачьими глазами то на сына, то на мужа.

— Осподи... перекрестилась она,— вот еще приехал шарыган какой-то...

— Хлюст,—стукнул крепкими зубами Терентий Тихоныч.

Я его тогда же, как он приехал, угадал... Тогда еще подумал: не жди, мол, добра, Терентий Тихоныч... Ну, посмотрим... Видали мы таких...

Степка, кривя в злобе рот, передразнивал избача:

— Би...и...днота у вас задавлена... Товарищество нужно.. Каллик...ти...и...в! А Яшка ему и говорит: видали, говорит, мы эти калликтивы. Коммуни эти.

— Ну, ну...

Ну, он ловок вывертываться, хлюст этот. Это, говорит, от плохого руководства и кулацкого засилия.

— Да где ж это у нас кулаки-то? — вскочил из-за стола Терентий Тихоныч, отколь они у нас? Може по его и я кулак?

— И ты, а то што ж: две избы, две лошади, две коровы, сад в шестьдесят пять корней.

— Ат чорт.

Терентий Тихоныч подошел к шкафчику и выпил граненый стаканчик вина.

— Нету спокойной жизни.

Степка стал одеваться.

— Гулять что ль?—спросила мать.

— Погуляю пойду.

— Погуляй, погуляй... Покуда молод, — гуляй, — говорил Терентий Тихоныч сыну.

Накинув поддевку на плечи он вышел вместе с ним на крыльцо.

— К девкам што ль идешь?.

— Ну, к девкам.

— Ты-б... того .. это... Орешков, карамельки... Домахе-то. Они любят сластито... Девки-то, хе-хе,-хе... Крути ей шибче голову-то... Обженишься, может быть... Время такое, льни, да льни к бедноте ближе... А работницу нам все одно держать... А ежли полюбится— раз-два и развод...

— На это мы учены,— из темноты отозвался Степка.

— Ну, ну...

Холодная темнота стояла над деревней Осень выветрила из садов запах антоновских яблок и пустой холод стоял в садах.

V.

Евсей проснулся и, приподнявшись, облокотился на лавку.

В голове у него шумело, как на мельнице.

— Домаха!—позвал он. Домах!

Никто не откликнулся Евсею.

Он покряхтел и стал шарить по карманам, сунул руку под изголовье—потерялся кисет.

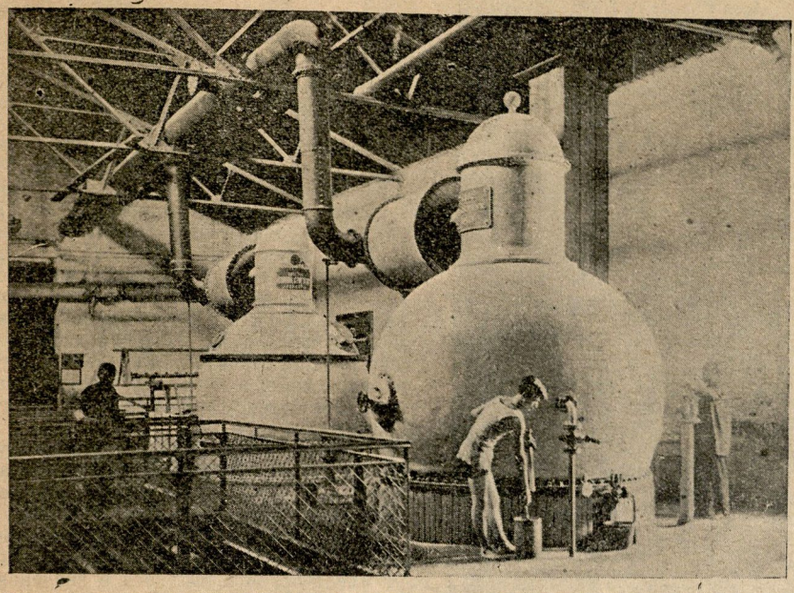
Евсей спустил ноги с лавки и несколько минут сидел в странном оцепенении.

Он смотрел под ноги, на пол, и ему казалось — плывет пол округло и мутно, как грязная вода, плывет и качает лавку и тошнота подступает к горлу, просит нутро похмелья.



Домаха! Шкуру спущу!..

На сахарном заводе.





В текущем году на тульском сахарном заводе произведено большое переоборудование. Благодаря установке конвейерной системы получается значительная экономия средств, облегчение труда работниц. Выпуск сахара против прошлого года увеличился на 20 тонн в сутки.

На снимке: 1. У вакуум-аппарата. 2. Работницы в минуты отдыха.

Евсей скребыхает ногтями вихрастую голову и ругается:

— Чортова девка... С утра из дома ушмыгнула... Ну, Домаха, помяни мое слово, спущу я тебе шкуру... Млада отцу супротивничать. Дай срок—выдеру я тебе косы.

Горячая злоба на дочь жжет Евсею сердце. Вот она изба-то, валится, того гляди, хватит матицей по башке и капут. Тут и кончится жизнь твоя, Евсей Мироныч. А все от Домахи зависит целиком и полностью... Не девка, а ни дать, ни взять лошадь с норовом.

Евсей грозит крепко сжатым кулаком:

— Ну, Домаха... Погодь... Обратаю я тебя...

Он идет к ведру и не отрываясь выпивает целый ковш воды.

Слышит: хлопнула дверь в сенях, скрипят старые половицы и вот отворяется дверь в избу и входит Домаха.

Широко расставив ноги, с ковшом в руке, лохматый и заспанный стоит Евсей и долго смотрит на дочь.

— К избачу што ль успела уж сбегать?—хрипит Евсей.

— А то што ж—сбегала.

У Домахи звонкий, строгий и крепкий голос и этот голос злит Евсея.

Евсей громыхает ковшом по ведерке и идет к лавке.

— То-то... Я уж вижу што сбегала...

Добегаешься...

Домаха стащила с себя одеженку и стала разводить самовар.

Евсей покряхтывая молчал. Молчала и дочь.

Когда затрещала в самоварной трубе сосновая лучина и пламя, вымахнув, лизнуло золотым языком печной шесток, Евсею стало отчего-то веселей, он заговорил.

— Председатель опять вчера пытает,—што ж, говорит, Евсей Мироныч, как насчет Домахи... Ну, я што ж... Теперь, говорю, Терентий Тихоныч, не старинное время, всем, говорю, дадена свобода, и сама в себе Домаха вольна. Так я ему и сказал. Чего ж я ему боле скажу? Женчина на равных правах...

Опершись круглым плечом о печку, Домаха рассеянно смотрит на самоварную трубу и молча слушает отца.

Евсей пальцами расчесывает бороду и говорит:

— Я ему говорю, ты, говорю, Терентий Тихоныч, власть на селе и дадут тебе за Степку любую невесту, с приданым,

Он мне на это отвечает таким манером: приданое, говорит, мне не надобно, свое добро, слава богу, есть, а жалает Степка мой на твоей Домахе жениться. Будет, говорит, она за ним жить, што твоя барыня, а тебе, дядя Евсей, я избу новую поставлю.

Я, говорит, бедноте очень сочувствую.

Евсей делает передышку, смотрит на дочь и ждет, что она скажет. Но Домаха молчит.

Самовар поет гулко, как телеграфный столб в морозную ночь.

Вековушкой не оставаться,—замуж все одно выходить надо, а только такого жениха не найдешь боле,—вздыхает Евсей.

Кабы ты жалела отца, не ртычилась бы... Ни себе, ни мне добра не желаешь... Она вот, изба-то, гляди потолком придавит... Кобыла вон тоже околевать собирается... А где чего возьмешь... А то б всякая подмога через тебя... Дура

— Перестань,—не оборачиваясь к отцу сказала Домаха.. Все одно пропьешь.. Все пропил... Теперь меня пропить хочешь...

Евсей вскочил с лавки и шарахнулся к дочери.

— Домка! Обороть на тебя надену!

Но дочь стояла спокойно.

Она была высока и крепка, а Евсей низок и тщедушен.

Он отступил к лавке и ругаясь матерно стал шарить по карманам, собирая махорочную пыльцу.

Потом он оделся и ушел.

Домна прибрала в избе, напилась чаю и села за работу—вязала чулки. Тогда вернулся Евсей. Он уже похмелился.

— Подогревай самовар,—сказал он. Вытащил из кармана бутылку вина, поставил на стол, из другого кармана вытащил сверток в желтой бумаге.

— Степан Терентьевич сейчас в гости придет. Грей самовар.

— Делать вам с ним нечего... Люди работают, а они гуляют, словно праздник...

Домна положила вязанье на полку и стала одеваться.

Евсей стоял покачиваясь и смотрел на дочь.

— Домаха... Я што говорю...

Но Домаха шмыгнула мимо отца и пошла из избы.

Евсей, распахнув дверь настежь, бросился за ней.

Домаха была уже на улице.

Евсей заорал пьяно и хрипло, грозя вслед дочери кулаком:

— Домаха! Шкуру спущу!

(Продолжение в следующем №).

Двадцать лет литературной деятельности Демьяна Бедного.

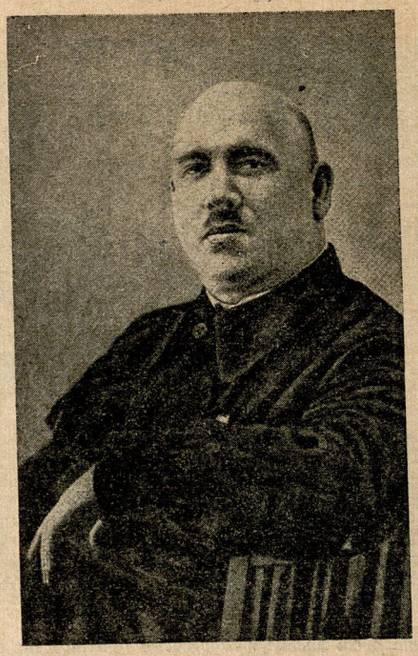
(1909 — январь — 1929).

Автобиография Демьяна Бедного.

Придворов, Ефим Алексеевич, крестьянин села Губовки, Херсонской губ., Александрийского уезда—таково мое подлинное имя и звание. Родился 1/13 апреля 1883 года в вышеназванном селе. Помню я себя, однако, сначала городским мальчиком—лет до семи. Отец тогда служил сторожем при церкви Елисаветградского духовного училища. Жили мы вдвоем в подвальной каморке на десятирублевое отцовское жалованье. Мать с нами жила редкими временами, и чем эти времена случались реже, тем это для меня было приятнее, потому что обращение со мной со стороны матери было на редкость зверское.

С семи лет и до тринадцати мне пришлось вытерпеть каторжную совместную жизнь с матерью в деревне.
В 1896 году «волею неисповедимых судеб» попал я не в елисаветградскую обойную мастерскую, куда меня было уже сговорили, а в киевскую военно-фельдшерскую школу.

Влезши в военный мундир, когда мне было тринадцать лет, вылез я из него, когда мне пошел двадцать второй год. В 1904 г., выдержав экзамен в качестве эстерна за полный курс мужской классической гимназии, поступил я в Петербургский университет на историко-филологический факультет.



Демьян Бедный.

После четырех лет новой жизни, новых встреч и новых впечатлений, после ошеломительной для меня революции 1905—1906 годов и еще более ошеломительной реакции последующих лет я растерял все, на чем зиждилось мое обывательски-благонамеренное настроение. В 1909 году я стал печататься в короленковском «Русском Богатстве» и очень близко сошелся с известным поэтом-народовольцем П. Я. (П. Ф, Якубовичем-Мельшиным). Влияние П Я. на меня было громадно. Смерть его—через два года—перенес я как ни с чем не сравнимый в моей жизни удар. Однако только после смерти его я мог с большой независимостью продолжать свою эволюцию, дав уже раньше значительный уклон в сторону марксизма; в 1911 году я стал печататься в большевистской—славной памяти—«Звезде».

С этого времени жизнь моя, как струнка. Рассказывать о ней—все равно, что давать комментарии к тому немалому количеству разнокачественных стихов, что мною написаны. То, что не связано непосредственно с моей агитационно-литературной работой, не имеет особого интереса и значения: все основное, чем была осмыслена и оправдана моя жизнь, нашло свое отражение в том, что мною—с 1909 года по сей день—написано.

Юной гвардии.

Время темное, глухое...
И забитость и нужда..
Ой, ты, времячко лихое,
Мои юные года!

Перед кем лишь мне, парнишке,
Не случалось спину гнуть?
К честным людям, к умной книжке
Сам протаптывал я путь.

Темь. Не видно: ров иль кочка?
Друг навстречу или гад?
Сиротливый одиночка,
Брел я слепо, наугад,

Вправо шел по бездорожью,
Влево брал, на искосок,—
И дрожал пугливой дрожью
Мой незрелый голосок.

Нынче красной молодежи
В дядьки я уже гожусь.
На ребяческие рожи
Все гляжу—не нагляжусь.

Зашумит ли резвым роем
В светлых залах новых школ
Иль пройдет военным строем
Предо мною Комсомол,

Я, состарившись наружно,
Юным вновь горю огнем:
— «Гей, ребятки! В ногу! Дружно!
Враг силен. Да шут ли в нем?

Враг стоит пред грозной карой,
Мы—пред заревом побед!»
Юной гвардии от старой
Героический привет!

Демьян Бедный.

Из окна.

Увяло небо за окном...
Смотри, мой друг, над городком
И ночь и тьма—все ниже...
Но пламя бьется в небеса,
Ты видишь эти корпуса?
Пойди к окну поближе.
Завод дымит в цветах огней
И с ним до утра весь я...
Труба дымится, и над ней
Темнеет поднебесье.
Она к заре утомлена,
К заре—неутомима...
Под утро прячется луна
В седые тучи дыма,
И там, где пламя—кровь гудит,
В живой, вздыхающей груди
Громад многоэтажных,
Откуда слышен звон и стук,
Не дремлют сотни глаз и рук
Упорных и отважных.
И там в кузнечном пиджаке
Стоял и я давно ли?
Ты видишь?.. На моей руке
Еще видны мозоли.

Там голос силен и крылат,
Где в сварочной метели,
Под искровый, колючий град,
Мы плавили и пели,
Стоял я, взора не клоня
От бурь огня и стали,
И песни стали и огня
Вокруг меня звучали.
И если на сердце легко,
Мой друг, не говори ты,
Что эти песни далеко
И мной полузабыты.
Я помню пламени прибой
И знойный запах горна
И пресс чугунный, но живой,
Любимый и покорный.
Гуди же, горн! Ты не забыт,
Ношу в груди тебя я,
И твой задор во мне кипит,
Кипит, не выкипая.

Мих. Зайцев.

Ночь.

Ночь. Снега за околицей стелятся,
В тучах месяц-костер потух.
И поет мне песни метелица,
Точно старый и верный друг.

И проходят часы караванами,
И уж полночь
Давным давно.
Как мальчишка в буденовке рваной,
Смотрит месяц ко мне в окно.

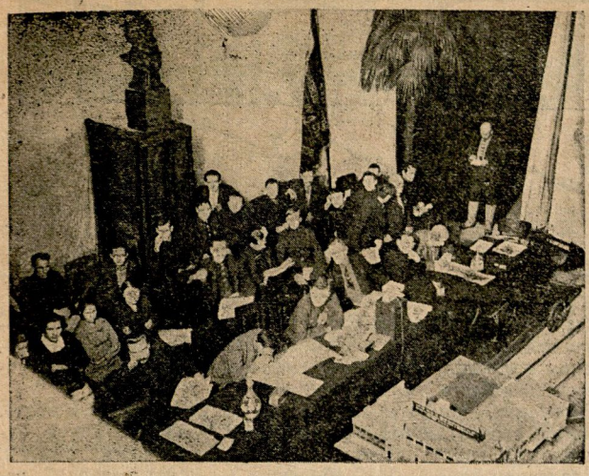
Я ж с стихами начал канителиться.
Бесконечен
Мечтаний круг.
И поет, напевает метелица,
Точно старый и верный друг.

Мелких строк вдоль идут караваны
Я пишу и пишу о былом...
И, как мальчик
В буденовке рваной,
Месяц тихо стоит под окном.

Косая Гора. **Михаил Рудин.**

XVIII ТУЛЬСКАЯ ГУБПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ.

Фото В. Сопп.





1. Президиум губпартконференции.

2. Иллюминованное здание гортеатра во время раб. там губпартконференции.



3. Зал заседаний губпартконференции.

4. В кулуарах. Покупка литературы у книжного киоска.

5. У входа в зал заседания (снимок сверху).



Рабочие готовятся к перевыборам советов.



Конференция проходила под знаком единства и сплоченности партии, борьбы со всякими уклонами в ней; развития и усиления коллективизации деревни, борьбы с кулачеством; развития индустриализации губернии.



Член горсовета отчитывается в работе горсовета перед пионерами на самоварной фабрике им. Ленина.

Рис. Жарова.



Старый джигит.

Рассказ А. Стрекопытова.

ЗАТРАВЛЕННЫМ зверем мечется полуторатысячная банда Ибрагима-бека, уходя от ударов красной конницы.

Ночь. Большие дворы горного кишлака заняты басмачами. Трудный переход прошедшего дня, сопровождаемый упорными боями, сильно истрепал джигитов и их лошадей. Только отдельные фигуры бодрствующих часовых да миганье костров напоминают о жизни. Мертвым сном спит банда и лишь изредка тишину нарушает легкий хруст пережевываемого клевера. Но и эти звуки редки и ленивы. Большая часть лошадей спит. Сказывается усталость в подбитых по горным дорогам ногах.

Тишина. В центре лагеря, около одной из кибиток, дремлют сидя два джигита.

Один—задорный, молодой Ялдаш, добровольно ушедший в банду, храбрый, мечтающий попасть в личную охрану Ибрагима, где сытнее и выгоднее служить, и другой—старик, Садык-Алихан, попавший в банду против воли и часто думающий о доме, жене и детях

В кибитке, которую стерегут джигиты,—двое русских. Оба они в одной из последних схваток увлеклись, врубились в средину банды и в неравном бою были оглушены ударами длинных саженных палок, с железными наконечниками.

Вѣвшиеся в руки и ноги ремни, которыми они были связаны, причиняли страшную боль и напоминали о предстоящих муках пытки.

Обоим, и командиру и красноармейцу, не хотелось так дешево и рано расставаться с жизнью, и сейчас они молчали, думая о доме, своей части и многом, многом другом.

— Как бы вырваться из когтей зверя-Ибрагима,—думалось каждому, но мысль и планы помогали мало.

А у двери кибитки стража. Голова Ялдаша раскачивается и постепенно опускается на грудь. Веки глаз сами незаметно закрываются и он почти теряет равновесие, но вздрогнув выпрямляется; протирает глаза и шепчет ругательство.

Мгновенно мелькает мысль:

— А что, если кто-нибудь увидит и передаст Ибрагиму?. Не видать тогда счастья, не быть в охране Ибрагима.

И сон пропадает.

— Дай табаку,—тянет руку к дремлющему Садыку Ялдаш,

Вздрогнув, старый джигит достает из-за пояса кубышку-табакерку, открывает кожаную пробочку и, насыпав в ладонь зеленого порошка, передает табакерку Ялдашу.

Положенная под язык смесь табачной пыли, мяты и кунжутного масла приятно освежает рот и на некоторое время отгоняет сон.

Опять тишина.

Грезится Садык-Алихану его кибитка и поле

— Осень. Скоро убирать рис и джугару, а там и хлопок собирать... — Что-то делает жена. Поди, справься с хозяйством, усмотри за детьми! Здоровы ли они?

Знает Садык—тяжелое время года подходит. Перед глазами встают родные, политые потом труда, места. Вот он участок рисового поля, залитый водой. Надо смотреть, чтобы беспрерывно текла вода из арыка, иначе солнце выжжет, превратив в сухую траву, поле, обречет на голод семью. Видит Садык, как на его рисовое поле опускается стая птиц, как они выклевывают и рассаривают сухие, полные зерна колосья, а внизу раздается похрюкивание и чавканье. Не видит Сыдык, но знает, что это. Не раз приходилось видеть целые участки рисовых полей, истоптанные полчищами диких кабанов, любящих это лакомство.

— Кш,.. а-га-га!—кричит Садык и вскакивает на ноги. — Фу, пригрезилось,—думает он и снова садится у двери кибитки.

Мельком взглянул на Ялдаша. Он уже не вскидывает головой, борясь со сном, а спит, прислонившись к стене.

— Разбудить?—подумал Садык, но остался на своем месте. Хочется опять вернуться мыслями домой, а Ялдаш, пожалуй, будет отвлекать. И снова потянулась оборванная нить мыслей.

— Поспевает хлопок. На небольших кустиках головки, величиною в орех, бухнут и трескаются под лучами солнца. Белая вата, как чалмы на головах мусульман, вылезает из лопнувших головок, и тогда все поле становится белым. С каждым днем головки ваты делаются все рыхлее и больше. Вот они достигают размера кулака. Надо спешить с уборкой. Каждая минута дорога. Еще немного и начнут падать на землю семена—зерна, а за ними и сам хлопок-вата. Тогда пропал весь урожай. Пропали труды.

Садык вздыхает и делается еще мрачнее.

— Что-то с семьей,—думает он. Кто знает, может злая лихорадка уже свалила с ног детишек?

Слезы выступают на глазах у бородача.

Будто почувствовал Садык тот тяжелый воздух, который вызывает лихорадку—воздух от испарений вызревшего хлопка. Его охватила жуткая неизвестность.

— Зачем пошел с Ибрагимом?—в сотый раз с горечью спрашивает себя Садык.

А было это так. Сперва прошел слух, что эмир бежит в горы от восставших рабочих и Красной армии. Слух подтвердился. К афганской границе потянулись целые караваны с имуществом и семьями баев, торговцев и чиновников эмира. Вскоре и сам эмир проследовал с блестящей свитой через кишлак Садыка.

Как и в каждом кишлаке, эмир говорил собравшимся деханам, чтобы они шли в его армию для подавления восстаний и изгнания русских. Эмира поддерживали зажиточные деханне, баи и муллы, которые ежедневно пугали жителей кишлака зверствами русских.

— Придут красные, мужчин перебьют, будут жечь кишлаки, женщин насиловать, а скот и все добро заберут с собой.

Многие ушли, а Садык ждал событий. Дошли вести, что красные теснят армию эмира, а он уходит все глубже в горы.

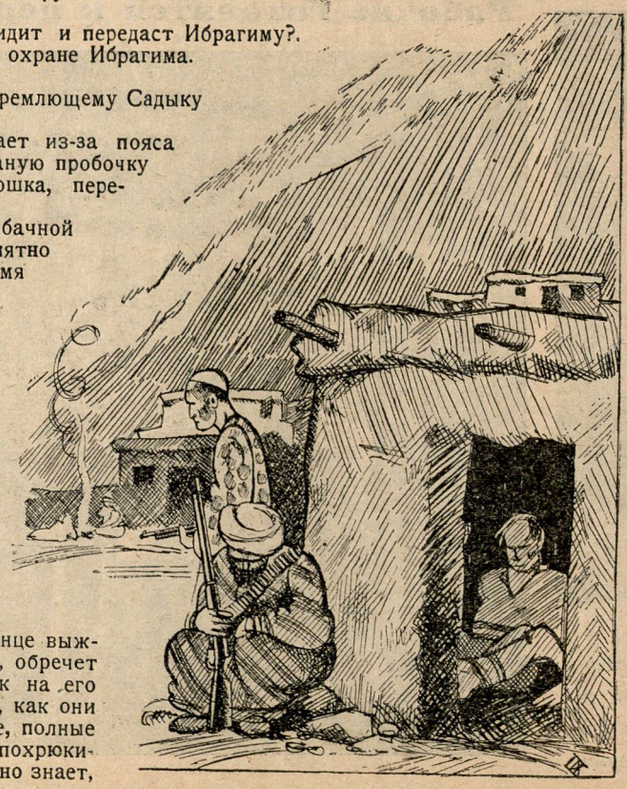
В пятницу в мечете мулла читал приказ Энвера-паши, командующего армией эмира, чтобы все правоверные шли в отряды его курбашей.

Как-то ночью в кишлак, где жил Садык-Алихан, пришел крупный отряд курбаша Ибрагима-бека. Переночевал отряд, а на утро забрал всех мужчин с собой, от стара до мала,

Очень немногие успели спрятаться. Двое были найдены джигитами Ибрагима и здесь же изрублены. Среди захваченных был и Садык, едва успевший попрощаться с женой и детьми,

Потекли долгие и тяжелые дни боевых стычек. Шаг за шагом уходила банда все дальше и дальше в горы, уничтожая по пути непокорные кишлаки, население которых не хотело бросать насиженных мест и не уходило в горы с бандой.

Первое, что удивило Садыка, это то, что русская Красная



В кибитке, которую стерегут джигиты,—двое русских.

армия не сожгла и не разграбила кишлак, в котором перед этим стоял какой-то отряд. Вскоре Садык убедился, что уверенья баев и мулл о зверствах русских ложны.

— Даже над кораном не надругиваются и лошадей в мечети не ставят,—удивлялся он, вспоминая, как об этом говорил их мулла.

— Убегу,—решел Садык, но...

Вспоминалась недавняя расправа Ибрагима.

— Отпусти домой,—просился посланный сотней локайцев *) джигит.—Сотня повоевала, а теперь пора и поля засевать, с голоду умрут дети.. Красную армию мы не боимся, с мирными жителями она не воюет.

— Ладно,—нахмурился Ибрагим-бек. — Только оружие оставьте, оно вам не нужно.

Обрадовались локайцы. Отдали оружие и сели за котлы с пилавом, чтобы перед дорогой подкрепиться, а в это время Ибрагим, с личной охраной коварно налетев на обедавших, изрубил всех до одного.

— Так будет с каждым, продающим свою веру,— бросил злобно Ибрагим оцепеневшим джигитам.

Жуткая расправа до сих пор перед глазами Садыка.

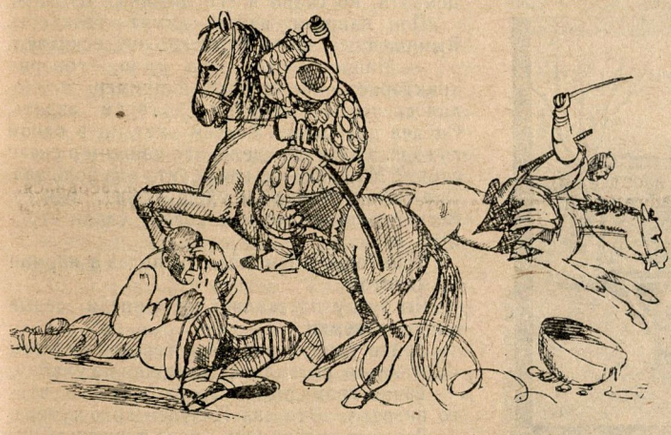
Кучами, как сидели, лежат убитые локайцы, а телохранители Ибрагима обирают карманы, шаря под поясами и в складках халатов.

Спокойно, точно баранов, дорезают еще живых локайцев, своих недавних соратников.

Как и тогда, по коже Садыка проходит холодок.

— Убежал бы домой, но страшна месть Ибрагима. Да и как

*] Локайцы—жители Локайской долины.



И тут же были изрублены...



Две тени удалялись все дальше и дальше.

примут русские,—думает Садык.—Может не поверят, что насильно взяли.

Он смотрит на небо. Еще не скоро рассвет. Взгляд снова падает на Ялдаша. Ялдаш спит. Слегка приоткрыл рот, глаза плотно сжаты, и мерное дыхание подтверждает крепкий сон.

— Пусть спит молодой джигит,—думает Садык.

Внезапно он улыбается. Задумывается на несколько секунд. И, мотнув головой, точно соглашаясь с кем-то, с решительным видом поднимается с корточек.

— Так будет лучше,—шепчут его губы.

Бросив взгляд на спящего Ялдаша, Садык неслышной походкой, как шакал, юркнул в дверь кибитки,

Нащупав в темноте одного из пленных, он стал что-то шептать ему на ухо. После этого ножем разрезал ремни, стягивающие руки и ноги пленного.

Второго освобождали от пут вместе.

— Идите ущельем вниз по течению,—шепчет Садык.—На дорогу не выходите. Кишлаки обходите дальше, чтобы собаки не услыхали. Пройдете второе ущелье, поднимайтесь на гору, там в кишлаке русские... Прощайте, помните Садыка-Алихан. Я не басмач.,. Садык выходит из кибитки, осматривается, садится на старое место и притворяется уснувшим.

— Если удачно уйдут, это будет служить мне порукой в том, что меня простят,—улыбается он. Только бы ушли. А Садык тоже уйдет.

Скользя змеями, бесшумно две тени удалялись все дальше и дальше от лагеря.

Дремлющие часовые остались позади.

Пока можно было различать сквозь прищуренные глаза, следил Садык за освобожденными, а когда тени исчезли совсем, старый джигит улыбнулся счастливой улыбкой и погрузился в крепкий сон.

Лагерь басмачей спал.

ПАЛИСАД.

Опять, пылая мне в лицо,
Вдали застыл закат. . .
Опять — знакомое крыльцо,
Знакомый палисад.

И в раззолоченный наряд
Окраины родной
Знакомый прячется накат
С отбитою трубой. . .

Забытый домик!
Мне ли, мне ль
Хранил ты свой порог—
Бревенчатая колыбель
Мальчишеских тревог!

Не я ли вот у этих шпал,
У тихой городьбы,
Ночами лунными блуждал
И ждал своей судьбы.

Покой покинутых стропил!
О, сколько бурь и грез
Я в эти дни похоронил
Под звон твоих берез. . .

Он так же темен и ветвист,
И будто в полусне
Трепещет пожелтелый дист
О прожитой весне.

Но годы мчатся, день за днем,
Их не вернуть назад.
Мы нынче строим новый дом
И рубим палисад.

И я не буду вспоминать
Тебя, приятель мой,
Когда, дробя родную гать,
Гигантов каменная рать
Воспрянет над тобой!

Я только нынче у стропил
Как будто перенес
Все то, что прежде пережил
Под звон твоих берез. . .

Закат пылает мне в лицо,
Но я проститься рад
С тобою, сонное крыльцо
И белый палисад.

В. Сухотин.

Рис. и фото А. Лесного.

ОГНИ В СНЕГАХ

Очерк Ив. Костина.

Глушь.

До нас доплыл по снегам разорванный ветром крик.

— Голода-ев! Э-э-й,— вопили за бугром.

— Что там такое?

Мой спутник, зав. Красным хутором, остановился и напряженно прислушался Видом своим он мало походил на зава, на то, что обычно связывается с этим словом. О портфелях, галстухе и чистой рубахе он отзывался презрительно, оттопыривая нижнюю губу.

Засаленная овчинная куртка, громадная лопоухая шапка, из недр которой торчит один нос, показывающий на морозе все оттенки зрелой владимирской вишни.

Грамоту Голодаев знал плохо.

— Как раньше было учиться крестьянину? Я в бедной семье родился, не до этого было. Кое-как вот еще в бумажках разбираюсь, да фамилию с фитюльками на отношениях подписываю, а больше не могу, хоть убей,— говорил он, смущаясь, в «откровенные» минуты. — Сейчас я бы и рад учиться, да времени все не найду. Бегаешь круглый день, хозяйство смотришь. Мысли разные покоя не дают: а вдруг там не так? а вдруг еще где-нибудь неладно? . . .

— Что они разорались? . . .

Голодаев повернулся и быстро засеменил ногами назад.

С бугра сбегал парень.

— Трех зарезали,— об'явил он, задыхаясь. — Сейчас. Не успели оглянуться. . .

— Что-о?

— Овец трех. Волки, чтоб их... За сараем овцы были . . . Васька отошел . . . Приходит. . .

Пятки валенок Голодаева стремительно замелькали и скрылись за бугром.

Я пошел один вниз по тропинке.

Медленно дотлевала заря.

Направо, налево — снега. Бесконечная, снежная гладь.

До Епифани — 25 килом., до ст. Клекотки—15. В Клекотки поезд приходит один раз в сутки, ночью.

Глушь. Река Тобола с ревом вырывается из подо льда и мчится к одинокой мельнице хутора. Мельничное колесо стонет в белых, как снег, брызгах. Далеко расплывается шум мельницы в пустынных зимних полях

Бело, бело. . .

Пять.

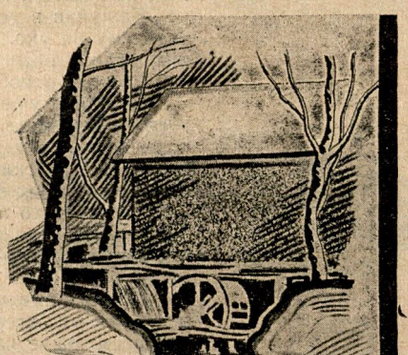
Было пять помещичьих гнезд. Долгими зимними вечерами, когда за окном холодным блеском искрились сугробы, помещики слушали нежное мурлыканье рояля, уютно развалившись в кресле перед камином, в котором плясало веселое, юркое пламя.

Горел огонек, горел . . . и потух. Весенней грозой прогремела революция, всколыхнула поля, разметала помещиков. В усадьбы пришли крестьяне. Не стало усадеб, стало пять артелей.

— Черствая была земля,— вспоминают колхозники. — Ой-е, какая черствая . . . Ведь и то, шутка сказать, восемь лет она почти не обрабатывалась до нас Да, пришлось повозиться с землей, не без этого. . . Но ничего, подняли, потом овес стали по 17 центнеров с гектара собирать, а не то что-то. Пошло дело.

От хутора до хутора 5-12 килом. Широки поля епифанские! Жил каждый хутор по-своему и соседями не интересовался. Но мало по малу зашевелилась на всех хуторах одна дума: а что если нам всем вместе слиться? Еще сильнее будем. . .

Весной 1928 года хутора решили об'единиться в одну артель.



Мельничное колесо, в белых, как снег, брызгах...

— Не буду сливаться! — заорал зав. Львовским хутором Воробьев! — Никаких гвоздей! Что?. . . Проваливайте, проваливайте! Я—хозяин, и не могу дозволить этого. Этак все хозяйство растащите, конечное дело!

Уперся Воробьев. Никак не соглашается. Но не помогло его упорство. Живо созвали собрание, Воробьева — по шапке. Новый зав. влез на табуретку и стал считать голоса за об'единение.

Артели слились. Так и назвались: «Об'единение».

Прибавилось силы; купили 30 коров, привезли два трактора. Сложились с окрестными крестьянами «на бычка» Завелся и бычек в артели.

По хуторам.

«Красный хутор» — центр группы.

Здесь—канцелярия, в которой находятся делопроизводитель, стол с засаленными папками и об'явление: «Просют не курить и матерно не выражаться. Штраф 3 рубля Правление».

Здесь сосредоточена и промышленность артели.

Голодаев с гордостью ведет меня поглядеть на комбинат. Это—детище артели «Об'единение». Строиться он начал весной. Уже стены и крыша сделаны.

Входим в серую сумеречность здания.

— Тут,— об'ясняет Голодаев, — будет крупорушка и мельничный постав. Никак, знаешь, не получается, чтоб молоть на речной мельнице без перебоя. Запруды мешают. А с этим поставом дело по-иному пойдет. Машины, видишь, уже получены. Э-э, брат, еще как заживем-то. . .

За комбинатом тянется узкое здание, еще не покрытое крышей. Там будет маслобойный завод. Черепичный завод сейчас временно приостановлен из-за недостатка цемента, но скоро и его должны пустить.

Под навесом важно стоят тракторы. Вычищенные части их тускло поблескивают.

— Машин у нас пока мало,— говорит тракторист.—Молотилке, например, приходилось осенью по всем хуторам ездить. Сараев для машин совсем нет ни в одном хуторе. Разве это дело, что машины в снегу стоят? Машина—не гляди, что она большая. Она—вещь тонкая и уход любит. Так-то. Весной будем в первую голову сараи строить.

Тракторист замолчал и полез в карман за кисетом.

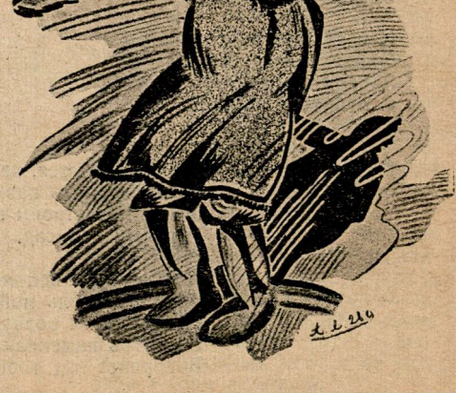
По бугру плескались и шипели седые волны поземки.

Бойко рванул в поля хуторской жеребец «Петька» и розвальни занырляли по ухабам,

Точно громадные сугробы выросло что-то впереди. Это сад Полуденского хутора.

Деревья склонились над тяжестью пушистых хлопьев инея. Мохнатые ветви их повисли сквозным сводом под маленькой тропинкой, бегущей к хуторским домам.

— Сад у нас пока небольшой. Три гектара всего. Только еще начинаем это



— Трех зарезали!..

дело. Весной засадим еще 10 гектаров. Скорей бы весна приходила!—говорит девушка, показывая сад.

Рядом – Грязновский хутор.

Резная веранда старого помещичьего дома повисла над стеклянной гладью пруда, затянутого льдом. За домом—скотный двор. Стройка его заканчивается. Нас встретил веселый свист рубанков.

— Доделываем датские кормушки,— кинул столяр, отбрасывая пряди волос с покрывшегося потом лба. . .

В отдельном небольшом домике—молочная. Тихий шум сепаратора. Тихая задумчивая песня. Хуторские девушки ловкими руками заворачивают в бумагу желтые плитки масла.

Хутор имеет 61 корову. Будет закуплено еще 30 голов.

Другие два хутора—Львовский и Журишенский—занимаются полеводством и огородничеством.

„Как пахнет жизнь“. . .

Небольшая, но уютная и чистенькая комната. На столе, над выводком расписных чашек, меланхолично жужжит кубастый самовар.

Хозяева усердно накачивали нас чаем, подвигали мед, масло и за чаем рассказывали про колхоз.

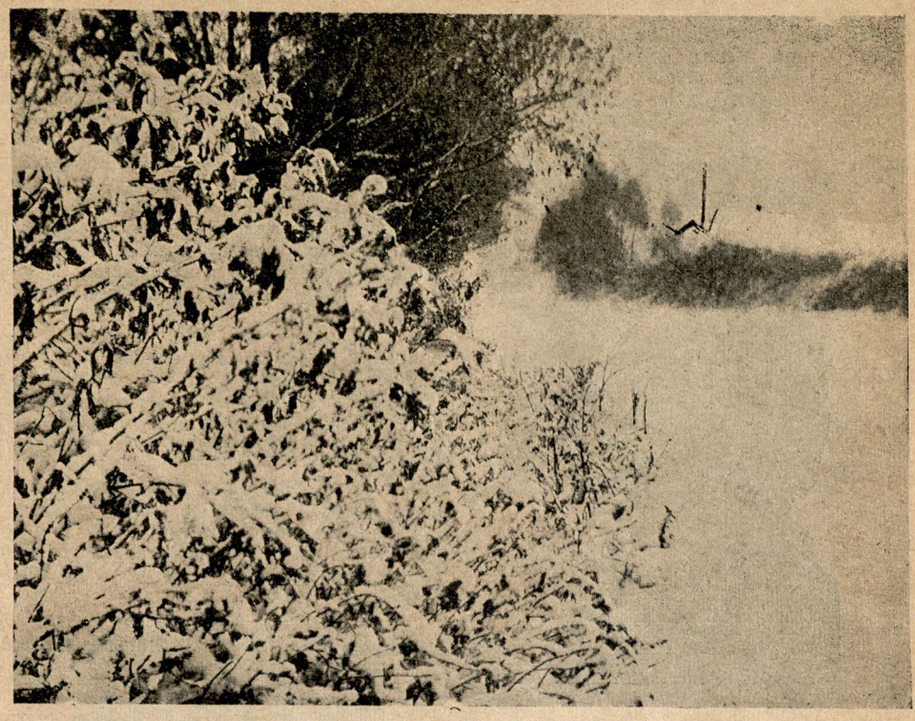
— Пейте, ешьте, гостю рады. . . Да-а, сейчас всего вдосталь. А когда пришли, не в чем было на работу выйти. Ей-пра! Тут вся беднота собралась. . . Почему яйца не едите?. . . Теперь оборудовались как следует: одежа, обужа. В двадцать седьмом году до об'единения каждый зарабатывал по 70 руб.; в этом году—130 руб. Еще чашечку. . . давайте, давайте. . .

Сумерки мягко окутывали комнату. За стеной забрякали ножами, ложками. Там столовая.

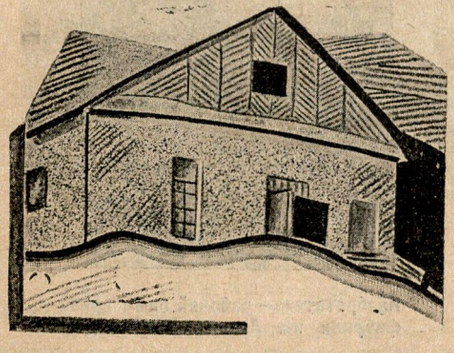
В артели 227 едоков. Тяга в артель большая, приходят новые и новые крестьяне, со своими семьями. Квартир нехватает, в квартирах теснота. В небольшой комнате живут по 6, по 8 человек. С весны начнут строиться дома на Львовском и Красном хуторах. Старый помещичий дом в Грязновке будет отремонтирован.

Начали развертывать культурную работу. Грязновский хутор выпускает стенгазету, работает военный кружок.

— Поручили Ларюшкиной культработу наладить,— рассказывают мне.— Бедовая баба. Теперь цельные дни этим занята. Ясли думает оборудовать . .



Все ярче разгораются в глубоких снегах огни новой жизни... (Красный хутор).



Это—детище артели—комбинат.



Резная веранда дома повисла над стеклянной гладью пруда... (Грязновский хутор).

На море,

Посвящается Вере Кузнецовой.

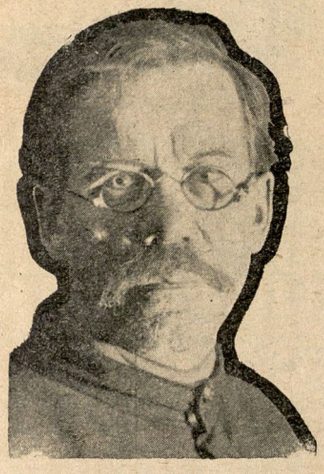
Смейся звонче, дорогая!
Пусть на плечи
Пал платок,
Пусть, играя
С солнцем мая,
Влажный парус колыхая,
Мчится в море
Наш челнок.
Позабудь огни столицы,
Дни рабфаковских забот;
Отдых новые страницы
Перед нами развернет.
Волны, ласковы и хлестки,
Волны гребнями валов,
Кроют тонкие полоски
Чуть заметных берегов.
Там кисейные туманы
Полегли на гребень гор,
И затих во сне румяном
Распростершийся простор.
За бортами, словно льдины,
В перегонку с челноком,
Темнобокие дельфины
Мчат, играя под веслом.
А весло, с волной гуторя,
Брызжет пеной в паруса,
Небеса глядятся в море,
Смотрит море в небеса.
Солнце жжет, неутомимо,
Серебря пустыню вод.
Над водою кудри дыма
Развевает пароход.
Смейся звонче, дорогая!
Пусть на плечи
Пал платок,
Пусть, играя
С солнцем мая,
Влажный парус колыхая,
Мчится в море
Наш челнок.

Мих. Зайцев.

Рабочие изобретатели.

Очерк М. Кольчугина.

КРУТЫЕ, розовеющие от утреннего солнца, копны заводского дыма продолжали медлительно плыть над городом, но мы их больше не видели. Дверь проходных ворот, в которые нас впустил старичек в тулупе, захлопнулась так сильно, что мой товарищ испуганно оглянулся назад: не разбились ли стекла.



Изобретатель—рабочий фабрики „Феникс" тов. Павшинский.

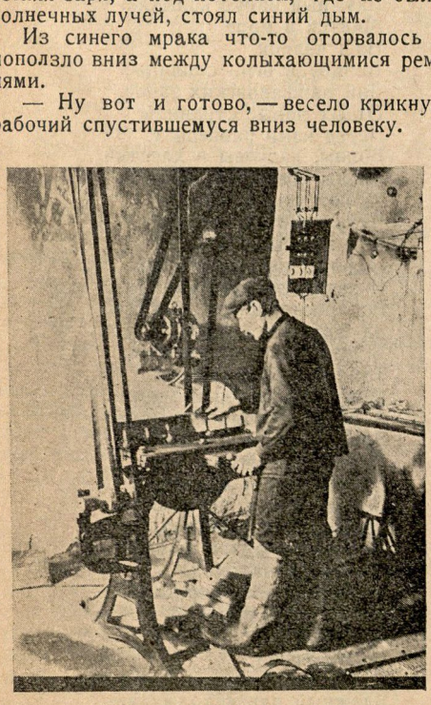
В фабрику мы пошли длиннейшим холодным коридором, куда, должно быть, никогда не проглядывало солнце.

И вот перед нами дверь, за которой слышится глухой железный гуд.

Вошли в мастерскую. Навстречу нам шарахнулся оглушительный шум машин. Косые солнечные столбы легли по станкам через мастерскую. В шуме среди станков тинькали на разные голоса отдельные части машин. Воздух внизу был желт, как летняя заря, а под потолком, где не было солнечных лучей, стоял синий дым.

Из синего мрака что-то оторвалось и поползло вниз между колыхающимися ремнями.

— Ну вот и готово, — весело крикнул рабочий спустившемуся вниз человеку.



Рационализация производства мебельно-зеркальной фабрики. На снимке: за новым станком по обточке ножей для фуганочного станка.

— Надо что-нибудь сделать тут,— сказал последний. — По-моему тут надо приспособить такую рогатку, чтобы не взлезавши туда можно бы накладывать соскочивший ремень.

Он поправил очки и взглянул серьезными сосредоточенными глазами на нас.

Рабочие зовут его Алексеем Александровичем. Фамилия его Павшинский.

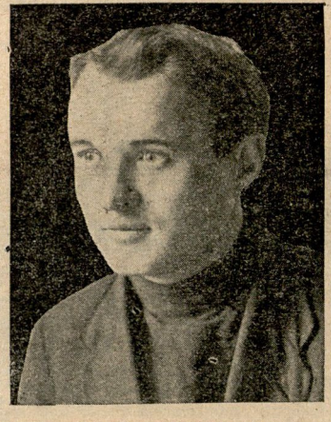
Товарищу Павшинскому 50 лет. На производстве он—с 14 лет. Его жизнь, прошедшая в лязге стали, в кружении маховиков, в дыме и чаде, стала походить на жизнь этих машин.

У т. Павшинского есть уже много изобретений, давших фабрике большую экономию. Он уже получил 3 премии У тов. Павшинского много проектов, которые смогут еще более удешевить продукцию на фабрике, улучшить ее и облегчить труд рабочего.

— Что вас натолкнуло на изобретательство, Алексей Александрович?

Алексей Александрович взял в руки рашпиль, попробовал большим загрубевшим пальцем мелкие зубья и взглянул на меня глубокими глазами:

— Жизнь сама подтолкнула. Раньше-то, до революции, нас за людей не считали.



Изобретатель—рабочий самоварной фабрики им. Ленина тов. Зайцев.

Ездили на наших спинах больше, чем на машинах и станках. Ну, а когда стало все рабочее, стали мы хозяевами заводов и фабрик—потянуло к тому, чтобы улучшить производство, облегчить каторжный труд...

— Препятствий, наверное, много было?

— Как сказать. Вначале плоховато было. Не хотели мастера понять рабочего. Приходилось работать втихомолочку, чтобы насмешками не отбивали дух. А как пошли по заводам производственные совещания, стали к голосу рабочего прислушиваться— легче стало. Сейчас не то, что здесь, на фабрике, а и дома покоя не дает желание творить. Мне вот 50 лет, а я чувствую себя молодым, и труд мне не труд, а радость.

Так говорит инструментальщик фабрики „Феникс" тов Павшинский.

Другой изобретатель Зайцев с самоварной фабрики им. Ленина заявляет восторженно:

— Мы на заграницу не надеемся. У нас хватит силы, чтобы сооружать и творить.

Зайцев разработал проект, как паять самовары без нашатыря.

Обыкновенно, прежде, чем впаять в самовар кувшин (внутренняя труба), металл должен накалиться добела, тогда берут олово, нашатырь и паяют.

Я видел эту работу. Рабочие буквально задыхаются в удушливых газах при пайке. Окись углерода действуют на организм очень вредно. На пайке человек отравляется: вредные газы рассасывают легкие, отчего рабочий хиреет и чахнет.

Немецкие делегаты в 1927 году осматривали эту работу и качали головами, заслоняя руками носы и рты. Зайцев попросил переводчика об'яснить что говорят делегаты. Переводчик сказал Зайцеву:

— Они говорят, что здесь человека нехватит и на 5 дней.

— Со временем будем паять электричеством,—сказал Зайцев, отводя в сторону лицо, в которое пахнуло ядовитым газом.

И вот теперь проект Зайцева одобрен на производственном совещании.

Правда, пайка будет пока не электрическая, но вредных газов больше не будет.

Зайцеву всего 22 года Он сейчас занят над разработкой других усовершенствований.

Упорнейшие труды изобретателей отгесняют на задний план все,—все трудности, все неудачи.

29-го декабря на той же самой самоварной фабрике по-особенному гудели приводы, скрежетало железо, по-особенному падали в окна солнечные столбы света...

Рабочий Рыжов собрался делать опыт по развертке крановых дыр машинным способом.

— Как же это так,—удивлялись старички, работающие по 40 и более лет на самоварном деле.—Мы все с испокон веку руками работали, а он хочет машиной. Чудно...

Украшенный сединами Рыжов окинул рабочих радостным взглядом и сказал:

— Два года я придумывал это, товарищи. Сейчас посмотрите и оцените.

Машина глухо заурчала. Краны пошли из-под машины один за одним, падая в ящик, блестя и звеня, как сосульки с мартовских крыш.

Сотни рабочих и работниц с удивлением смотрели на это изобретение. А краны падали и звенели, звенели и падали без конца...

— Все в наших руках,—сказал Рыжов.— Все можно поставить так, как захочет человек!

Эти слова Рыжова навели меня на воспоминание о товарковском шахтере, таком



Изобретатель — рабочий самоварной фабрики им. Ленина тов. Рыжов.

10 лет со дня смерти К. Либкнехта и Р. Люксембург.



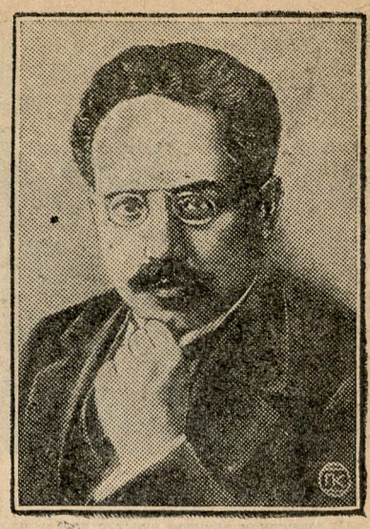
Роза Люксембург.

В январе 1919 г. берлинский пролетариат, под руководством Карла Либкнехта и Розы Люксембург, поднял восстание. Восстание было подавлено правительством Шейдемана; К. Либкнехт и Р. Люксембург были арестованы, а затем убиты офицерами при явном соучастии социалистов-предателей.

К. Либкнехт — германский коммунист, вождь мировой коммунистической молодежи.

После победы большевиков в России, Либкнехт, находясь в тюрьме, один из первых в Германии стал на сторону русской революции, призывая рабочие организации организовать Советы по русскому образцу.

«Красная Роза» (германская коммунистка) является одной из основательниц рабочей партии в Польше, а вмешательство в русские дела в революции 1905 г. закончилось для нее заключением в Варшавской цитадели и затем изгнанием обратно в Германию.



Карл Либкнехт.

же рабочем, как и Рыжов. Разница между ними только в том, что лицо Рыжова покрыто медной пылью, а у товарковского — углем.

Товарковский рабочий с шахты № 45 Дмитрий Гречишкин стоял на угольном кургане с огромнейшей лопатой—грабаркой и смотрел, как девчата гнали вагоны с углем. Вагоны их не слушались, уходили вперед их. Девчата были бессильны удержать сотеннотонный груз.

— Стоп!—крикнул Гречишкин и сбежал с угольного кургана.

Он, точно приготовленный заранее, кинулся вперед к ярусу строительного леса, взял толстую жердь и потащил ее прочь от яруса

— Что ты хочешь делать?—спросили рабочие.

— Тормоз.

— Ну и чудак же, дядя Дмитрий,— засмеялись рабочие.—Какой же это будет тормоз? Он разлетится в щепки.

— Нет, не разлетится.

Гречишкин нахмурил брови. Блеснувшая в голову мысль сразу не могла оформиться, но он держал ее, точно на ременных вожжах, собрав от натуги мыслей сотни морщин на лице.



Заседание производственной комиссии лесопильно-стружечного завода.

— Нет, не разлетится! — повторил он и пошел в кузню.

Там он заказал огромнейшие клещи из железа, прикрепил их к жерди, сделав из нее хорошую рукоятку, и на полном ходу сумел ими останавливать вагоны. Администрация до этого заставляла класть на рельсы деревянные катки, которые часто ссаживали вагон с рельс и мало облегчали труд.

Тормоз Гречишкина применяется и сейчас. Им пользуются сейчас везде, где нельзя подходить паровозу к углю, и вагоны гоняются в ручную.

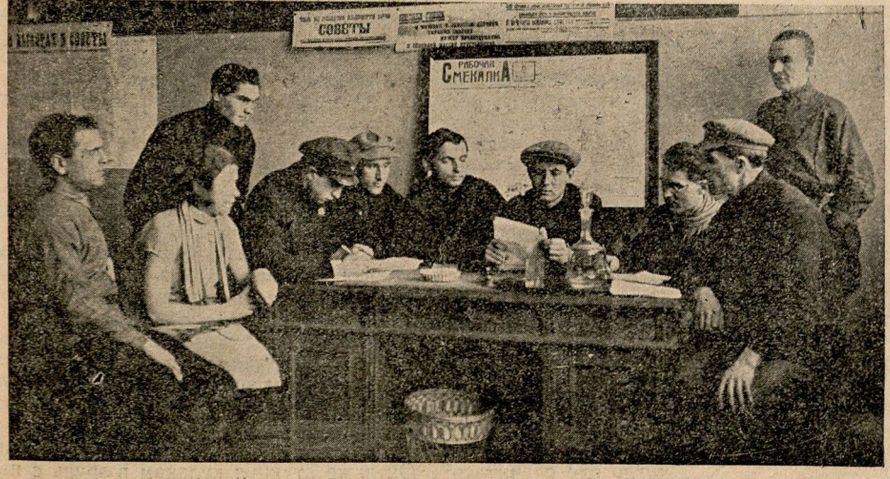
... Вчера я исчертил весь город, а раньше—загородье, шахты, заводы в провинции, в Донбассе и других местах. Я был на морях, в степях, на больших реках, в больших городах.

Но почему-то теперь по-особенному улыбаются мне заводы широкими, как пруды окнами.

Раньше работали больше руками и горбом. Хозяину-фабриканту дешевле становилась рабочая сила, чем машинная. Теперь хозяин-рабочий перестраивает свою жизнь, труд. Производственные совещания рационализируют производство, проводят усовершенствования машин и станков. Тысячи рабочих изобретателей работают над новыми и новыми проектами изобретений.

С каждым днем улучшается производство, крепнет промышленность, облегчается рабочий труд.

Коллективное рабочее творчество кладет прочный камень в фундаменте строительства социализма.



Производственная комиссия мастерской № 18 завода № 1 обсуждает план губернского производственного смотра.

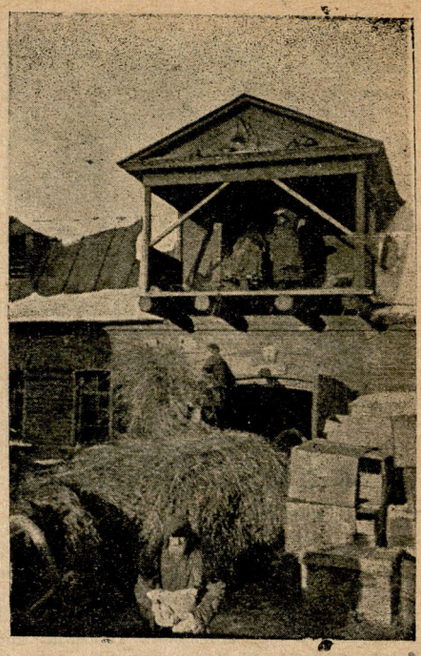
Губернское совещание по поднятию урожайности.



С 27 по 31 декабря в Туле проходило губернское совещание по поднятию урожайности.

В совещании приняли участие крестьяне, агрономы, представители организаций, связанных с сельским хозяйством, и учащиеся богородицкого с.-х. техникума. На совещании заслушано свыше 15 докладов, из которых важнейшие: о задачах повышения урожайности в Тульской губ., задачи с.-х. кооперации и колхозов в деле повышения урожайности, организация советской общественности в деле повышения урожайности, доклады с.-х. опытных учреждений. Из этой серии докладов особенно интересен доклад т. Брушлинского о работе областной опытной станции. Совещание указало, что для поднятия урожайности в нашей губернии необходимо усилить коллективизацию сельского хозяйства и бороться за повышение урожайности в индивидуальных хозяйствах. Отмечена крупная роль опытных учреждений в деле поднятия урожайности и выражено пожелание, чтобы эти учреждения теснее связались с крестьянскими массами.

Постановление последней сессии ВЦИК о повышении урожайности на 30-35 проц. должно быть выполнено в ближайшую пятилетку.



За уборкой урожая.

КОТЕЛ № 3.

Рассказ Кузнецова.

УТРОМ рано к механику пришел младший кочегар и сказал:

— Котел номер три мог взорваться.

— Почему? Как?

Ему об'яснили.

Лицо механика побледнело, глаза беспокойно забегали Он стремительно бросился в котельную. Прибежал. Обратился к старшему кочегару:

— Котел три работает?

— Работает.

— Держит пар?

— Держит.

Стал осматривать. Все на месте.

— Жулдыбина сменил ты?

— Я.

— Все было в исправности?

— Все... а что?

— Ну... Вообще, я спрашиваю.

Старший кочегар недоумевал, почему механик так беспокоится. Никогда не спрашивал и вдруг...

Стоял и долго наблюдал за топкой. Ушел. Через несколько времени опять вернулся. В голове росло сомнение в исправности котла. Был удручен. «Проклятая должность — подумал механик.— Каждый день жди неприятностей».

Котел работал исправно, топки горели хорошо, пар держался прекрасно Но механик не успокоился: «А что, да неисправно? Возможна катастрофа, жертвы, остановка производства... Скандал... Гляди, да гляди»...

И теперь каждое утро он приходил и спрашивал:

— Ну, как котел номер три?

Он бы мог остановить котел на неопределенное время. Но остановить котел — остановить производство... а тут дорога каждая минута.

Какой странный этот молодой кочегар Павлов, донес об этом случае спустя, как выяснилось, месяц.

— Товарищ Павлов, почему ты не сказал об этом случае в тот день?

— Забыл.

— Как забыл?

— Почему вы меня спрашиваете? Нас было четверо младших кочегаров.

— Дураки .. Все четверо дураки... А ты знаешь, чем это пахло?.. Вся станция могла взлететь на воздух... Глупо...

Павлов молчал. Молчал и механик.

Гремели вагонетки. Уголь сыпался, поглощался топками.

— Провал! Даешь! — кричал старший кочегар в топку.

Производилась шуровка. Пламя колыхалось. Миллионы золотых искр блестели в топке.

— Даешь!

— Готово!

Провал окончен. Топку загружали вновь. В поту, в жару кипела работа, не умолкая, круглые сутки.

* * *

Жулдыбина обвиняют в том, что он упустил воду, отчего мог быть взрыв котла.

Теперь он шел домой и все думал об этом, думал упорно' методично, как думает, вероятно, человек, которого ведут на расстрел. Он никак не мог ясно представить себе, что случилось, и, казалось, что ничего и не было... Да и как могло быть, когда уже десять лет, как он на производстве. И вдруг он, Жулдыбин, сделал такую ошибку.

«Нет, это недопустимо» — твердо сказал он себе и провел рукой по голове, стараясь отогнать навязчивые мысли. И потом он старался вспомнить, как было,—точно вспомнить Вот он влезает вверх, к котлу Лестница крутая железная. Он держится за перила, пробует кран .. смотрит на градусник, манометр... Все исправно, на месте... Младший кочегар Павлов берет лопатой блестящий, точно лакированный, антрацит и бросает в топку, перегибаясь всем корпусом. Кончил. Разогнулся и смотрит на Жулдыбина, улыбаясь оскалом белых зубов.

Топка беспощадно жрет уголь, хватая огненной пастью сотни тонн корма. По клапанам, трубам и в пароперегреве, не смолкая, шипит пар.

Налево газоанализатор, сзади насосная, прямо котлы, а там за котлами, за стеной — машинный зал Все в порядке... «Но что же дальше?» Жулдыбин мучительно напрягал мысли, вспоминая, что было тогда.

Он так погрузился в размышление, что не замечал никого.

— Ишь напоролся водки... бродяга,— выругал его один из прохожих, но он не только не слышал ругани, но даже не ощущал толчков прохожих. Мысли бежали, мешались и нельзя их было уловить, как в быстро вертящемся колесе спиц.

«Чорт с ними, что обвиняют... Не это важно... Но как могло это случиться?» Он даже стукнул кулаком в грудь с необыкновенной силой... Но и в груди чувствовалось какое-то притупление.

Жулдыбин сел на каменную ступень парадного входа большого дома. Голова его все наливалась тяжелыми мыслями и казалась грузной, тяжелой.

Наконец он решил: завтра нужно итти к следователю. Будет допрашивать, обвинять, стараться запутать рядом вопросов... И всему тому, что я скажу, он не поверит... Потому что... Не в этом дело... не в этом... Дело в том, что в глазах всех я оказался вредитель... И как это могло случиться?»

... И вот, как только это случилось, все стали избегать его и смотреть как-то подозрительно и осторожно. «Да, Жулдыбин преступник, вредитель. Они правы... потому что они так поняли

Он встал и пошел. Ноги, казалось, переступали механически, сами собой, и он вовсе не управлял ими; казалось все в нем жило само по себе... Во всех членах царила анархия. Воля отсутствовала, разум свернулся и уступил место бессмыслице.

Пришел домой, не понимая, зачем пришел. Он уже не ел десять часов и есть не хотелось. Жена посмотрела подозрительно, думая, что он пьян. Но нет, на это было не похоже, потому что, когда был выпивши, становился веселым. Теперь такого состояния не замечала. Он просто казался рассеянным, несколько мрачным.

Жулдыбин ходил из угла в угол по комнате, без останова, долго... Сам он себе казался не человеком, а большим непонятным предметом.

Пробили часы восемь. Жулдыбин вздрогнул и произнес рассеянно:

— Поздно...

Подошла жена и спросила:

— Что ты такой мрачный?

— Нет... Тебе так кажется.

— Врешь.

— Вовсе нет.

И улыбнулся как-то необыкновенно,— одной нижней губой.

— Ты не ел... Садись, ешь,— сказала жена.

Сел. Механически клал в рот пищу. Жевал будто по обязанности.

Потом жена сказала:

— Ложись спать... ты устал.

— Правда... устал.

Разделся, лег. Хотел заснуть,— не мог. Кругом черный мрак... Тоска... мука... Хоть полоску света. Душно. Он встал. Открыл окно. Повеяло холодом. Кажется, стало легче. Посмотрел вдаль. Город играл электрическими огнями. Заводские трубы при свете фонарей пускали седой густой дым.

Жулдыбин не спал долго, пока не успокоился тем: «Пусть так»... Голова качнулась, и он заснул.

* * *

Жулдыбина сняли с работы. Было обидно и больно. Он не был преступником и не мог им быть. Тут что-то произошло непонятное.

На допросе он не признал себя виновным. Это может была ошибка, но не преступление. Он сознательно сделать не мог... Нет, не мог...

Кочегар Павлов стоял на дежурстве и так же, как всегда, бросал уголь в топку. И когда он открывал дверцу, то жар обдавал его тело. Он знал про все, что было, и это страшно мучило его. «Да, Жулдыбин упустил воду. Мог быть случай опасный, жуткий... Могло все взлететь на воздух. Но почему я донес спустя месяц?.. Нечестно»,— думал Павлов.

Жара охватывала снаружи; но внутри горело сильнее, подступало к горлу, душило.

Павлов тоже плохо понимал, что произошло. Почему-ж не тогда, а теперь? Он весь потный чувствовал какую-то дурноту, слабость. Он подошел к старшему кочегару и сказал:

— Товарищ, дай смену, я болен.

— Болен?

— Да...

Его отпустили: он, как пьяный, шатаясь, шел домой и мыслил: «Все-таки я поступил не по товарищески, нет... нехорошо... Если бы буржуй, а то рабочий. Мы все знали, что воды в котле мало, но почему же мы не помогли Жулдыбину? Почему?»

Незаметно Павлов вошел в сад. Была осень холодная, сырая. Выл ветер на деревьях и кружил падающие желтые листья. Он сел на лавочку.

Сидел долго. Чувствовал озноб. Вдруг стремительно поднялся и побежал, грузно путаясь ногами.

* * *

Жулдыбин осунулся, оброс точно жнивью рыжими волосами на лице. Кепку опустил низко над глазами. И не смеялся, как прежде. Теперь он работал по двору.

Он часто заходил в котельную, становился около двери и подолгу смотрел на котел № 3.

Он любил быть кочегаром, любил это помещение, черный уголь, серный запах газа Каждый день он жил этой простой и нужной жизнью.

И вдруг оказался оторванным от всего этого, чему отдал десять молодых лет.

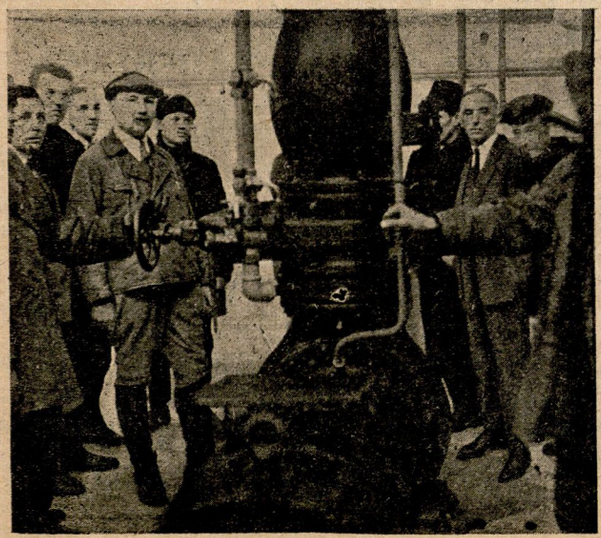
Но главное: с ним теперь избегали говорить, сторонились и смотрели иначе на него. Отчужденность пугала его, и ядом жутких мыслей съедала душу.

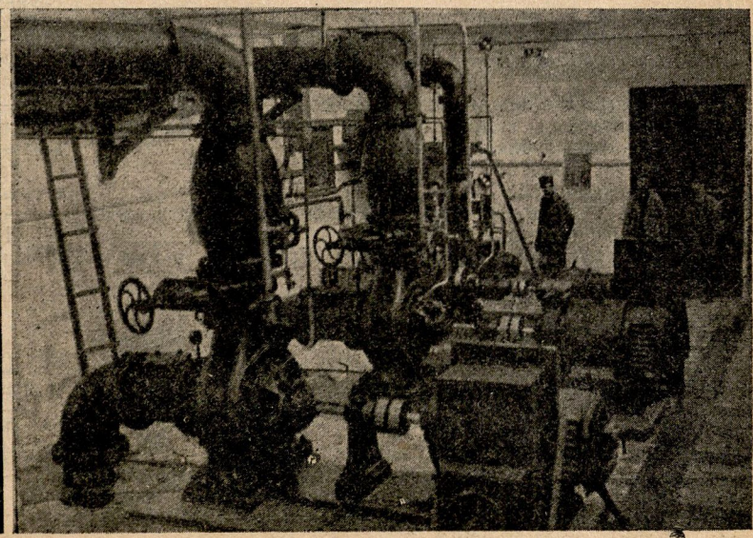
Долго продолжаться так не могло.

Ему вдруг захотелось сделать что-нибудь решительное, смелое и дерзкое.

Он поднялся по лестнице в машинное отделение. Долго стоял и слушал величайшую музыку труда, музыку больших сложных машин, облокотясь на перила. Кругом манометры, амперметры, счетчики с прыгающими стрелками, и все они, казалось, жили и, смеясь, смотрели на него.

Он сошел вниз, где находилась камера высокого напряжения. Белые стены... рычаги... красные переплеты шин... И тишина,— мертвая тишина... Чудилось—здесь не было жизни... Но зато здесь таилась огромная сила. Вот где успокоение... думал Жулдыбин. Все кончится: муки, презренье к тебе людей... все...

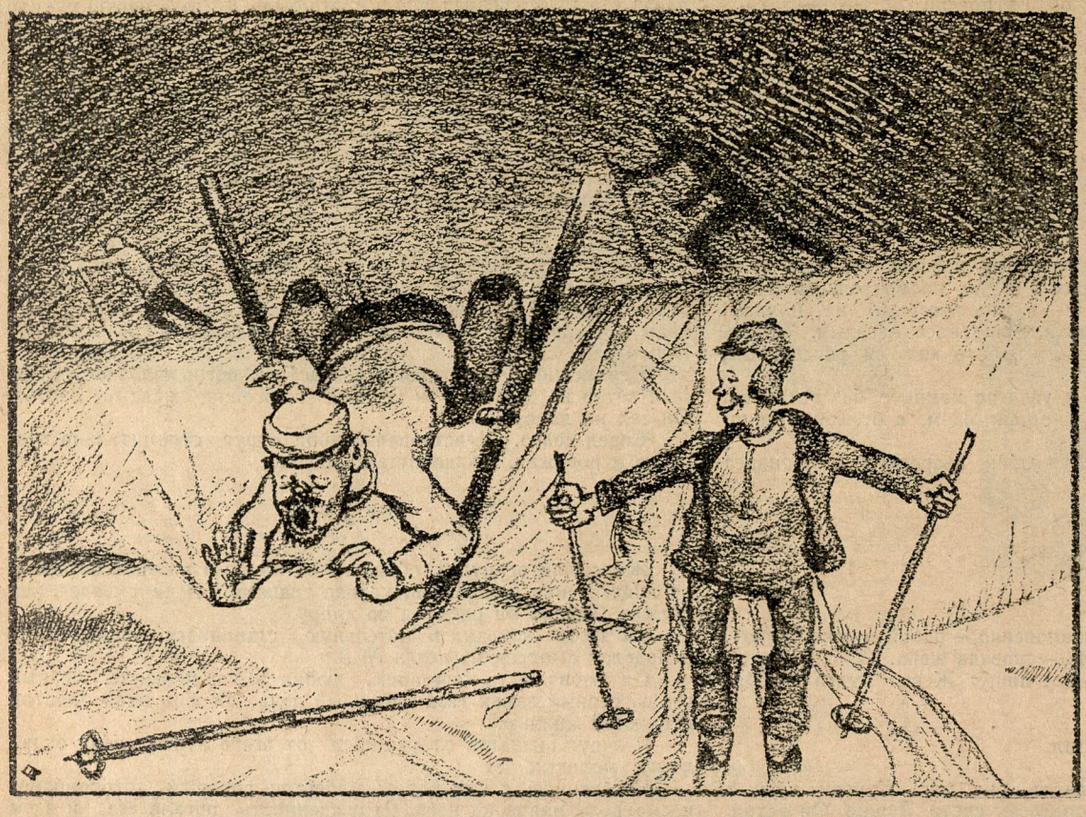




В Туле начала работать канализационная сеть. *На снимках: 1. Пуск насосной станции Коналстроя в присутствии представителей заводов, горсовета, губкоммунхоза и специалистов. 2. Машинный зал насосной станции Каналстроя.*

ПЕРВЫЕ ШАГИ.

Рис. Жарова.



Вдруг железная дверь распахнулась. Жулдыбин вздрогнул и оглянулся. Перед ним стоял механик, а позади Павлов. Механик строго сказал:

— Жулдыбин, ты не на своем месте. Сюда вход запрещен. Здесь ясно написано:—«смертельно».

И он указал пальцем на красный плакат.

— Я понимаю,—опустив голову тихо сказал Жулдыбин.

— Понимаешь! Так иди работать! Я через вас ночи не спал. Вы этого не сознаете. Ведь у нас общее дело, чорт возьми! А склоку и подсиживание, товарищ Павлов, нужно бросить. Нечестно, подло с твоей стороны.

Все вышли из камеры. Железная дверь притворилась, за ней скрылся злорадно улыбнувшийся на плакате череп с провалом глаз.

* * *

На путях, где выгружали уголь, работали подвозчики. Грязные, в стоптанных валенках, они кидали шахтерками в вагонетки уголь. Подошел к ним Жулдыбин и стал смотреть на их работу.

Тут был китаец с лицом цвета желтого картона. Звали его Ван-Чей. Он подошел к Жулдыбину, положил руку на плечо и, улыбась желтыми зубами, произнес:

— Некарашо скучать... Смерть скучать.

— Обидно, Ван-Чей.

— Обидно... некарашо. Мы пролетарии... В Росси жить карашо... Мандаринов нет.

Ван-Чей добродушно посмотрел на Жулдыбина и твердо заявил:

— На родина я не поеду... Вот родина...

И Ван-Чей широко развел руками.

— Ван-Чей, тебе в России нравится?

— Нравица... Жинка русска... детишка маленьки... люблю., кароши детишка... И ты карош... дай рука.

Жулдыбин дал руку. Ван-Чей потряс ее крепко.

— Ходя! Сюда!—позвали Ван-Чея.

И Ван-Чей быстро направился на окрик.

Подвозили уголь. Катились вагонетки, гремя по стали рельс. Толкали их сзади люди, на под'емах с силой упирались на рассыпанную серую нажигу. Плечом упирался в вагонетку и Ван-Чей.

Какая-то сила вкатилась в сердце Жулдыбину: большую дружбу он почувствовал к китайцу. Ван-Чей улыбаясь прошел мимо и повторил:

— Карашо...

Уже второй-третий раз вернулся Ван-Чей, а он все стоял и смотрел: то на горы угля, рассыпанного около путей, то на холодную гладь мрачной речки, на окраины города, на далекий сумрак полей. Потом он пошел по путям, огибая крутой поворот линии. Прямо на него катилась вагонетка, нагруженная углем,—катилась под уклон. Бежали около нее трое и среди них был Ван-Чей. Кто-то крикнул:

— Ходя! Держи! Упадет!

Ван-Чей бежит, упираясь в корпус вагонетки. Поворот. Ван-Чей поскользнулся, упал. Вагонетка накренилась на бок и повалилась всем корпусом на китайца.

— Ой!—крикнул Ван-Чей.

Подбежал Жулдыбин и еще двое рабочих.

— Ну, ребята, нажмем! —сказал Жулдыбин. С силой уперлись в корпус вагонетки и поставили ее на рельсы.

Ван-Чей лежал с перекошенным от боли лицом. Ноги у него неподвижно лежали под грудой угля.

— Ван-Чей, вставай!— и товарищи стали его поднимать из под угля.

— Ноги... Некарашо...

— Ну, товарищи, понесемте.—

Жулдыбин оглянулся на говорящего сзади. Перед ним стоял Павлов. Он виновато смотрел на Жулдыбина, чувствовал эту виновность и молчал.

— Некарашо.— опять произнес Ван-Чей.

Взяли бережно Ван-Чея и понесли в больницу.

* * *

Ван-Чей в больнице быстро поправился и выписался домой. К нему часто стал заходить Жулдыбин на квартиру. Жил китаец хорошо. Жена его Дуняша соблюдала в доме чистоту и опрятность. Двое детишек черноглазых, бойких бегали по комнате. Ван-чей, глядя на них, сказал:

— Маленки пролетари... Караши...

Однажды к китайцу пришел Павлов и застал у него Жулдыбина.

— Вот что, товарищ Жулдыбин... Трудно мне... Места не нахожу... Дурак я... По злобе это вышло... Понял... Честно заявляю...

Говорил Павлов. Слова у него путались, задерживались в горле.

— Ничего, ничего...— с болью в груди отвечал Жулдыбин.

И было ему в это время жаль всех: и себя, и Павлова, и Ван-Чея, и слезы навертывались на глазах.

— Некарашо... Пролетарии мы,— заметил китаец. . . .

. . . . . .

Шли от Ван-Чея вместе, молча. Жулдыбин не вытерпел и сказал:

— Эх, Павлов!...

Павлов молчал, в его голове вертелись слова, сказанные Ван-Чеем:

— Некарашо... Пролетарии мы...

Кузнецов.

ЮМОР

ПОСЛЕДНИЙ ФАКИР.

(Рассказ клубного работника).



— *Дайте трояшку взаймы*

КЛУБ наш небольшой, но ничего. Сцена, окна и двери имеются. Хотя, правда, последние подвыпившая членская масса снимает с петель каждое воскресенье. Сторож Кузьма не успевает привешивать.—«Очень уж, говорит, живая публика пошла, пралик их расшиби. Чистое наказание!»

Вывеска у клуба громкая «Имени тов. Томского»—выведено золотыми буквами по голубому фону. Шесть окон, и все на главную улицу. Часть их, впрочем, выбита. Но не в окнах суть. Культработа тоже поставлена на должную высоту на основе широкого учета запросов и вообще... Хотя, если говорить положа руку на сердце, то...

Э, да что там! Дрянной клуб, прямо, можно сказать, никудышный. И жизнь его никудышная, распроклятая жизнь. Денег нету. Приходишь в губотдел, а там говорят—зайдите завтра, а через неделю дают пятерку. Вот и ставь тут на должную высоту на основе широкого учета...

Бежишь к частнику парикмахеру, что внизу живет—Дайте, мол, трояшку взаймы, а то «Амба» сорвется. За прокат кофты героини есть, а на юбку нехватает...

Частник сперва давал, а потом бросил. «К свиньям, говорит. Не желаю больше. А на постановку вашу мне тьфу! Пущай срывается».

Несознательный элемент!

И вот сижу я раз в читальне.

Комната пуста. Библиотекарша прослышала, что денег не дают, и срочно заболела скарлатиной. Сижу и скучаю.

И вдруг слышу в клубе шум.

Никак, думаю, опять кому-нибудь ошибочно по затылку свистнули...

Кузьма, кряхтя, надевает валенки и отправляется вытряхивать.

Дверь распахивается, на пороге—представитель люмпен-пролетариата...

«Что вам, говорю, требуется? Свисток, говорю, у меня в кармане».

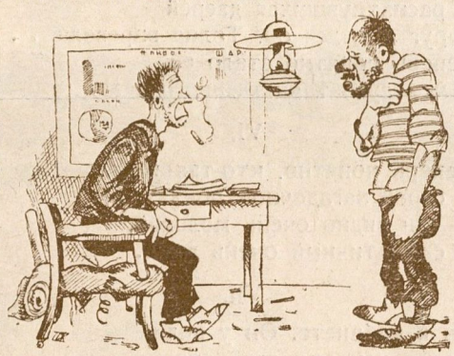
«Я, говорит, факир Мак-Май. Ей-богу! Глотаю шпаги и лягушек на научной подкладке. Почти задаром, из любви к искусству. Работал в Москве, в Мюзик-Холле. Предложили удалиться по причине спиртных напитков... Я, говорит, сейчас продемонстрирую».

Засучивает рукав и помахивает волосатым кулачищем перед моим носом. Я кашляю.

В дверях появляется Кузьма с кочергой. «Никак, говорит, печка прогорела»?—и пробирается поближе к Мак-Маю.

Я ему делаю знаки: дескать, не прогорела еще. Подожди.

Факир оттягивает кожу на руке, и маленький кинжал, сверкнув в воздухе, вонзается в руку...



— *Я—факир Мак-Май.*

Договорились мы с факиром. Устраиваем вечер, а то скоро перевыборы правления. Плата факиру—на бутылку водки.

Ладно. Порадуем членство...

* * *

Дали Мак-Маю портки.

Рубашки так и не нашлось.

«Велика важность!—утешил режиссер,—факиры—они все без рубашек ходят. Такая мода».

А Мак-Май намазал рожу сажей, вертится перед зеркалом и спиртным воняет.

«Где, говорит, мой тюрбан?»

Соорудили и тюрбан. Из тряпки, под цвет рожи. Нацепляем ему на голову.

Публика в это время издает бурные аплодисменты и сучит ногами.

Дали звонок. Мак-Май, босоногий, мрачно вышел на сцену, об'явил насчет гипноза и стал медленно кружиться вокруг заранее приготовленного ковра с битым стеклом.

И вдруг его пятки стремительно взвились над ковром, и в мертвой тишине оглушительно треснули госдрамовские брюки, не выдержав трюка. В зале кто-то взвизгнул изо всех сил шлепнул ногой плевательницу.

«Тьфу!—орал восторженно Кузьма.—И до чего же чисто работают люди!..»

Выступление продолжалось.

Мак-Май попросил у публики шляпные булавки и утыкал ими свои руки. Предложил то же сделать с желающими.

Сыскался один такой парень. Вылез на сцену. Факир торжественно проткнул ему булавкой бицепс. Возлюбленная парня ахнула и сверзилась со скамейки. Парень побледнел и свистнул факиру по уху. Пришлось опять об'яснять, что такое гипноз.

Под конец тот же Мак-Май пел в первоначальном своем наряде песни каторжников. Кузьма сочувственно жаловался на пояснicу...

* * *

Публика расходилась.

Мак-Май берет мой последний червонец, из которого я должен был заплатить ему 2 целковых за работу, и, махнув рукой, выходит разменять его в киоск.

Улицы пустынны и тихи. В окно читальни вливается ночь.

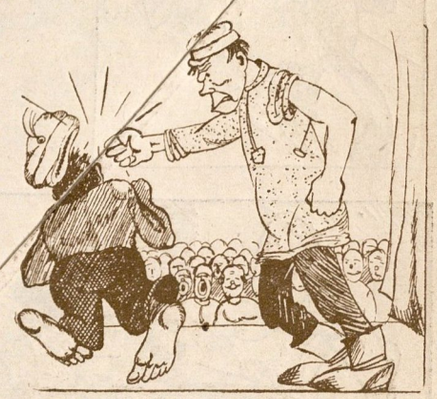
Входит Кузьма и задумчиво плюет в форточку.

«Погода, говорит он, хорошая. Последнюю половинку занавеса факир упер. Вполне, говорит, годится на портянки».

И заплакал.

С тех пор я не приглашаю в клуб факиров. Ну их к дьяволу. Без них лучше. Имущество хоть в целости будет.

Ив. Сирота.



И „свистнул" факиру в ухо.

Издатель—газета „Коммунар".

Редакционная коллегия { М. Колябская, С. Корнев, С. Дмитриев, А. Медведев, В. Старцев.

Гублит № 48. Типография Тулпечати—Тула, ул. Коммунаров, 42. Зак. № 72. Тираж—8000 экз.

ЦЕНА 10 коп.

Рисунки В. С., текст А. Л.

Человек в редакции.

(Похождение Тима Тилима).

I.

Однажды зимнею порой,
В летящий бабочками снег,
На обширной мостовой
Вдруг появился человек.



II

И он, на здешних не похожий,
Привлек внимание прохожих.



III.

Он был не беден, не богат,
Его единственным багажем
Был чайник, фото-аппарат,
Бумаг огромная поклажа.



IV.

— Он спекулянт? Нет, он артист?
— В его походке есть «ластичность».
Под шум толпы, под смех и свист,
Покойно шествовала личность.



V.

У распахнувшихся дверей
Вдруг скрылся он. Толпа взревела. . .
Теперь понятно стало ей
В чем суть таинственного дела.



VI.

Теперь понятно, кто такой
С своей загадочной поклажей:
— Он видно очень молодой,
И симпатичный очень даже.



VII.

Он в кабинете. Он у цели,
Метая искрами свой взор,
С редактором о важном деле
Покойно вел переговор.
— Редактор, я вам все скажу,
Но только капельку терпенья.
Я — Тим Тилим, и вас прошу
Мои печатать приключенья. . .
— Редактор! Вам в подарок вот
Привел подписчиков на год!

(Продолжение следует).

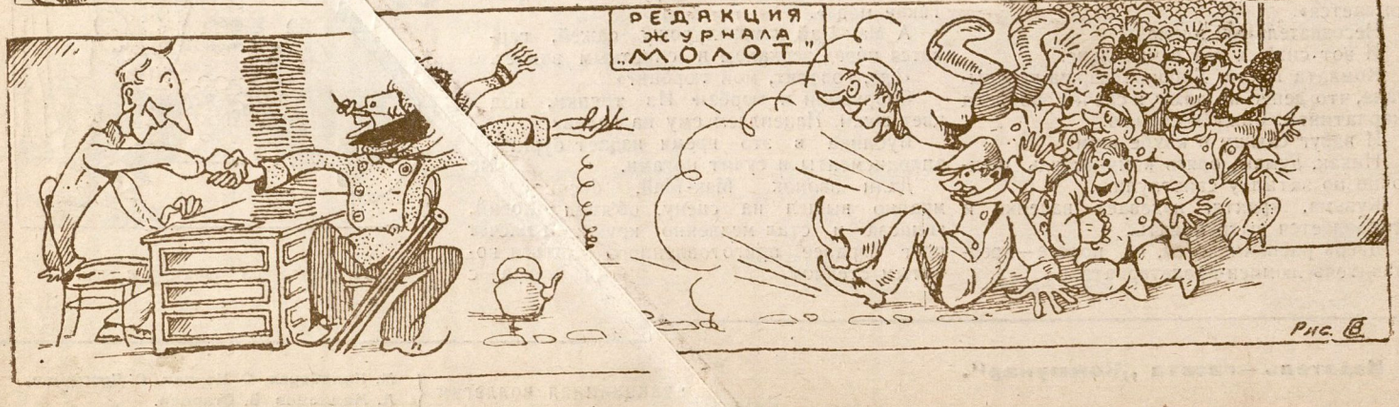


Рис.

Кстати: подписка на „Молот" продол[жается].